ВРЕМЯ И МЫ

2

1975

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕНЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЬЮ –
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ

Эфраим Кишон

Страницы юмора

Лия Владимирова

"Арабески"

Михаил Троппер

"Алия
в зеркале психиатрии"

Марис Бишофс

"Перевернутый мир"

ВРЕМЯ и МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ.

№ 2 декабрь 1975 *Выходит один раз в месяц*

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Артур Кестлер

"Тьма в полдень". 3

ПОЭЗИЯ

Лия Владимирова

"Арабески". 131

Из поэзии Самиздата. 139

Редьярд Киплинг

Из новых переводов. 141

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Троппер

"Алия в зеркале психиатрии" 144

Борис Орлов

"Миф о Фанни Каплан". 153

КРИТИКА

Наталия Рубинштейн

"Выключите магнитофон — поговорим о поэте" 164

ИЗ ПРОШЛОГО

Виктор Перельман

"Гайд-Парк при социализме" 178

СТРАНИЦЫ ЮМОРА

Марис Бишофс

"Перевернутый мир" 208

Эфраим Кишон

"Контрамарка",

"Двезвездывместопятидесяти".....214

Коротко об авторах 219

Digest of the second issue of
"VREMIA I MI" ("Time and We").....222

Главный редактор
Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон — **Михаил Занд**
Фаина Баазова — **Михаил Калик**
Георгий Бен — **Вадим Меникер**
Лия Владимирова — **Борис Орлов** *(зам. гл. редактора)*
Егошуа А. Гильбоа — **Йосеф Текоа**
Илья Гольденфельд — **Аарон Ярив**

Художник Лев Ларский,
Корректор Нина Островская,

Технический редактор Наталия Ларская.
OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2009 г.
Библиотека Александра Белоусенко

©

Всё права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам и редакции.

ПРОЗА

Артур Кестлер

ТЬМА В ПОЛДЕНЬ

Перевел с английского
Георгий Бен.

5

А Рубашову тем временем делались все новые и новые послабления в тюремном режиме. Утром одиннадцатого дня ему впервые разрешили прогулку во дворе.

Старик ключник и все тот же охранник, что водил Рубашова к парикмахеру, вывели его из камеры сразу же после завтрака. Старик сообщил Рубашову, что с нынешнего дня ему положена ежедневная двадцатиминутная прогулка. Рубашова определили в "первый круг", который выводили сразу же после завтрака. Затем Рубашову прочли правила прогулки: запрещается обращаться к соседу или к какому бы то ни было другому заключенному, запрещается делать другим заключенным знаки, запрещается обмениваться записками, запрещается выходить из круга. Любые несоблюдения правил внутреннего распорядка влекут за собой немедленное лишение права на прогулку, а особенно серьезные нарушения — заключение в карцер на срок до четырех недель. Зачитав все эти

правила, надзиратель захлопнул снаружи дверь рубашовской камеры, и все трое двинулись по коридору. Пройдя несколько шагов, надзиратель остановился и отомкнул дверь камеры № 406.

Рубашов, который стоял рядом с охранником на некотором расстоянии от двери, увидел в камере ноги Рип ван Винкля, которые свешивались с койки. Ноги были обуты в черные сапоги на пуговицах, а поверх них — клетчатые брюки навыпуск, обтрепавшиеся снизу, но все еще сохранившие элегантный вид. Старик надзиратель еще раз скороговоркой протараторил правила прогулки. Ноги в клетчатых брюках соскользнули с койки, и в дверях, моргая, появился крошечный старичок. Лицо его обросло короткой седой щетиной. Поверх необыкновенного вида брюк на нем был черный жилет с цепочкой для часов, но без часов, и черный же пиджак. Рип ван Винкль немного постоял в дверях, с искренним любопытством разглядывая Рубашова, потом дружелюбно ему кивнул, и дальше они двинулись вчетвером.

Рубашов, ожидавший увидеть человека совершенно спятившего, был приятно удивлен. Рип ван Винкль, правда, все время нервно мигал (видимо, из-за того, что много лет просидел в темной одиночке), но глаза у него были ясные и спокойные. Идя по коридору, он то и дело с симпатией поглядывал на Рубашова. Спускаясь по лестнице, споткнулся и, видимо, упал бы, если бы надзиратель его не поддержал. Тогда Рип ван Винкль пробормотал что-то — видимо, слова благодарности,— и охранник с дурацким видом осклабился. Затем они все вышли во двор, где уже стояли другие заключенные, построенные попарно. С центра двора, где стояла охрана, прозвучал свисток, и тюремный круг начал двигаться.

Небо было голубое и ясное, но в воздухе кружился снег, и Рубашов зябко поеживался: он забыл захватить с собой одеяло. Рип ван Винкль, накинув на плечи какую-то рвань, которую ему дал надзиратель, молча ступал рядом с Рубашовым мелкими, твердыми шажками, щурясь на голубое небо. Рубашов пытался сообразить, где находится окно его камеры. Все окна были одинаково темные, за ними ничего не было видно. Он задержался взглядом на окне камеры № 402, но, кроме грязного оконного стекла, ничего рассмотреть не мог. № 402 был лишен прогулок, не водили его и к парикмахеру или к врачу. Рубашов ни разу не слышал, чтобы его выпускали из камеры.

Заключенные молча кружили по двору. Рип ван Винкль шевелил губами, что-то про себя бормоча. Приглядевшись, Рубашов понял, что он беззвучно напевает мелодию "Вставай, проклятьем заклейменный...". Спятил он или нет, но после семи тысяч дней и ночей своего заключения он явно был, что называется, с придурью. Рубашов смотрел на него и пытался представить себе, каково это — целых два десятка лет быть оторванным от мира. Двадцать лет назад автомобиль был в диковинку и выглядел странно; не существовало радиоприемников; и никто не знал имен политических деятелей, которые нынче были у всех на устах. Никто не мог предвидеть массовых народных движений, политических сдвигов, а также тех извилистых путей, по которым пошло впоследствии развитие Революционного Государства. В те годы все верили, что открылись врата в Утопию и что человечество стоит на пороге...

Рубашов неожиданно понял, что при всем своем умении влезать в чужую шкуру он никак не может представить себе ментальное состояние Рип ван Винкля. Он без труда мог поставить себя на место Иванова, или Первого, или даже офицера с моноклем — но не Рип ван Винкля. Рубашов посмотрел на него: старик как раз повернул к нему голову, он улыбался и, обеими руками придерживая на плечах свою ветошь, шагал рядом, напевая про себя "Вставай, проклятьем заклейменный...".

Когда их увели со двора, у двери своей камеры старик снова кивнул Рубашову. Он, казалось, хотел что-то сказать, но надзиратель уже захлопнул за ним дверь камеры. Оставшись один, Рубашов снова подошел к стене. Рип ван Винкль молчал и на стук не отозвался.

А вот № 402 уже нетерпеливо допытывался, что было

на прогулке. Он хотел знать все, до мельчайших подробностей: чем пахнет в воздухе, мороз ли на дворе или только прохладно, встретил ли Рубашов кого-нибудь из заключенных в коридоре, и смог ли Рубашов в конце концов перемолвиться словечком с Рип ван Винклем. Рубашов терпеливо ответил на все вопросы. По сравнению с № 402, которого никогда не выпускали во двор, сам он был теперь в привилегированном положении. Ему было жаль своего соседа, и он чувствовал себя перед ним чуть ли не виноватым.

На следующий день, и еще на следующий Рубашова водили на прогулку в то же самое время — после завтрака. Его соседом в паре всегда оказывался Рип ван Винкль. Вплоть до третьей прогулки они не перекинулись ни словом, хотя Рубашов видел, что охрана не очень-то и старалась следить за соблюдением тюремного устава и некоторые пары вели почти непрерывную беседу: каждый смотрел прямо перед собой и произносил слова, едва шевеля губами. Такой технике разговора люди быстро выучиваются в тюрьме. Рубашову она была хорошо знакома.

На третий день Рубашов взял с собой свою тетрадь и карандаш, сунув их в левый наружный карман так, чтобы они были видны. Минут через десять Рип ван Винкль это заметил, и глаза его повеселели. Он боязливо взглянул на охранников, стоявших в центре круга,— те о чем-то оживленно беседовали и не обращали на заключенных никакого внимания. Тогда Рип ван Винкль быстро выхватил из кармана Рубашова тетрадь и карандаш и, прикрывшись одеялом, стал быстро что-то писать. Кончив, он вырвал страницу и сунул ее в руку Рубашова, но тетрадь и карандаш оставил себе и продолжал строчить. Рубашов удостоверился, что охранники на него не смотрят, и глянул на листок. Там ничего не было написано, Рип ван Винкль нарисовал географические очертания Революционного Государства. Причем сделал он это с поразительной точностью,— нанес на листок основные города, горы и реки, а в центре изобразил флаг с революционным гербом.

Когда они прошли еще полкруга, № 406 вырвал вторую страницу и тоже сунул ее Рубашову. На ней был тот же самый рисунок, и в центре красовался тот же герб. Рип ван Винкль взглянул на Рубашова и, улыбаясь, ждал, что тот скажет или сделает. Рубашова этот взгляд смутил, и он пробормотал что-то вроде "вы хорошо рисуете". Рип ван Винкль моргнул и ответил:

— Я могу это делать с закрытыми глазами.

Рубашов кивнул.

— Вы не поверите,— с улыбкой добавил старик,— я двадцать лет практиковался.

Он быстро взглянул на охранников, закрыл глаза и, не умеряя шага, стал снова скрести карандашом в тетради. Глаза его были плотно сжаты, и он поднял подбородок, как делают слепые. Рубашов бросил озабоченный взгляд на охранников: он боялся, что старик споткнется или выйдет из ряда. Но они прошли еще всего полкруга — и рисунок был закончен. Только сейчас герб на флаге был непомерно большого размера.

— Ну, верите?— прошептал № 406 и расплылся в счастливой улыбке.

Рубашов кивнул. Но лицо старика тут же потемнело. Рубашов уловил в его глазах страх. Этот страх вспыхивал всегда, когда Рип ван Винкля уводили в камеру.

— Ничего нельзя сделать,— прошептал он Рубашову.— Меня посадили не в тот поезд.

— То есть как это?

Рип ван Винкль улыбнулся — мягко и грустно.

— Когда я уезжал, меня привезли не на тот вокзал,— сказал он.— Они думали: я не заметил. Никому не говорите, что я знаю,— прошептал он и глазами указал на охранников.

Рубашов кивнул. Вскоре после этого прозвучал свисток — сигнал, что прогулка окончена.

Когда они проходили в дверь, ведущую со двора в здание, на какой-то момент они оказались не под наблюдением. Тогда № 406 сказал, снова гляди на Рубашова ясным и дружелюбным взглядом:

— Может быть, и с вами случилось то же самое?

Рубашов кивнул.

— Нельзя терять надежду,— сказал Рип ван Винкль.— Когда-нибудь мы все равно туда доберемся.

И он указал на скомканную страничку, которую Рубашов все еще держал в руке, потом сунул тетрадь и карандаш обратно Рубашову в карман. Поднимаясь по лестнице, он снова напевал свой обычный мотив.

6

За день до конца назначенного Ивановым срока, во время раздачи ужина, у Рубашова внезапно появилось какое-то тревожное ощущение, будто сегодня что-то не так. Он сам не мог объяснить, в чем дело. Пищу раздавали, как всегда. Заунывный сигнал, возвещавший об ужине, прозвучал в точно положенное время. Однако Рубашов ощущал в воздухе какую-то напряженность. Может быть, кто-то из охранников как-то необычно на него взглянул или, может быть, в голосе старика надзирателя прозвучала какая-то странная нотка. Рубашов не знал, в чем дело, но писать он не мог. Нервы его были напряжены. Так подагрики предчувствуют грозу.

После того как раздача еды закончилась и шаги охранников замерли в глубине коридора, Рубашов прильнул к глазку и стал смотреть в коридор. Электрическим лампочкам, должно быть, не хватало накала, они горели в полсилы, и их свет тускло падал на плитки пола. Тишина в коридоре казалась еще более мрачной и безнадежной, чем обычно. Рубашов лег на койку, снова поднялся, заставил себя написать несколько строк, погасил сигарету и тут же закурил новую. Он выглянул во двор: начиналась оттепель; снег стал рыхлым и грязным; небо было обложено тучами; на стене напротив взад и вперед ходил часовой с винтовкой. Рубашов снова глянул через глазок в коридор: тишина, пустота и электрический свет.

Вопреки своим привычкам и не обращая внимания на то, что уже поздно, Рубашов попытался завязать разговор с №402:

— ВЫ НЕ СПИТЕ?— выстучал он.

Некоторое время ответа не было. Рубашов разочарованно ждал. Через минуту-другую он услышал ответ. Сосед стучал тише и медленнее, чем обычно: .

— НЕТ. А ВЫ ЭТО ТОЖЕ ЧУВСТВУЕТЕ?

— ЧУВСТВУЮ ЧТО?— спросил Рубашов.

У него участилось дыхание. Он лежал на койке и стучал по стене оправой пенсне.

№ 402 снова помедлил с ответом. Затем он начал выстукивать так осторожно, словно говорил шепотом:

— ВАМ ЛУЧШЕ УСНУТЬ.

Рубашов неподвижно лежал на койке. Ему было стыдно, что № 402 разговаривает с ним, как с ребенком. Он отметил, что № 402 перешел на "вы". Рубашов лежал на спине и смотрел на свое пенсне, которое он держал в поднятой руке, около стены. За стенами камеры стояла такая тяжелая тишина, что она, казалось, физически давила ему на уши. Вдруг снова раздался стук:

— ЗАБАВНО, ЧТО ВЫ ЭТО СРАЗУ ПОЧУВСТВОВАЛИ.

— ПОЧУВСТВОВАЛ ЧТО? ОБЪЯСНИТЕ! — простучал Рубашов, садясь на койке.

Казалось, № 402 обдумывает, что ответить. После недолгого размышления он отстучал:

— СЕГОДНЯ УЛАЖИВАЮТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ.

Наконец-то Рубашов понял. Он сидел в темноте, прислонясь к стене, и ждал. № 402 умолк. Через некоторое время Рубашов отстучал:

— СМЕРТНАЯ КАЗНЬ?

— ДА,— лаконично ответил № 402.

— ОТКУДА ВЫ ЗНАЕТЕ?- спросил Рубашов.

— ОТ ЗАЯЧЬЕЙ ГУБЫ.

— КОГДА?

— НЕ ЗНАЮ,— и затем после паузы: — СКОРО.

— ЗНАЕТЕ ИМЕНА?— спросил Рубашов.

— НЕТ,- ответил № 402.

И почти сразу же добавил:

— ВАШЕГО ТИПА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ.

Рубашов снова лег и ждал. Потом он надел пенсне и

продолжал лежать неподвижно, подложив руку под голову. Снаружи не доносилось ни звука. Любое движение в здании было придушено, вся тюрьма словно вмерзла в темноту.

Рубашов никогда не присутствовал при смертной казни — кроме того раза, когда чуть было не расстреляли его самого, но это было давно, во время гражданской войны. Он не мог представить себе, как смертная казнь должна выглядеть со стороны, в обычных обстоятельствах, когда это становится элементом повседневной рутины. Рубашов что-то слышал насчет того, что казни производятся по ночам, в подвалах, и что осужденному стреляют в затылок, но подробностей он не знал. Для членов Партии смерть не была таинством, в ней не заключалось — и не должно было заключаться — ничего романтического. Это было просто логическое завершение, фактор, с которым приходилось считаться и который рассматривался совершенно абстрактно. И говорили члены Партии о смерти редко, а слово "казнь" вообще почти не употребляли. Вместо этого было принято выражение "физическая ликвидация". Но эти два слова — "физическая ликвидация"— выражали всего только одну конкретную идею, а именно: прекращение политической деятельности. Сам по себе процесс расставания с жизнью считался лишь технической деталью, в нем не было ничего интересного. Смерть сделалась коэффициентом логического уравнения и потеряла какие бы то ни было эмоциональные, человеческие свойства.

Рубашов неотрывно смотрел в темноту. Интересно, началась ли уже процедура "приведения в исполнение" или еще все впереди? Рубашов снял ботинки и носки, голые ноги белели на фоне темной стены у противоположного конца одеяла. Тишина стала еще более противоестественной. Это было уже не обычное успокаивающее отсутствие посторонних шумов; это была тишина, которая вибрировала, как туго натянутая кожа барабана. Рубашов не отводил взгляда от своих голых ступней и медленно шевелил пальцами ног. Это выглядело смехотворно и

жутко: как будто белые ноги жили своей собственной, самостоятельной жизнью. Рубашов с необычной остротой воспринимал теперь все ощущения собственного тела, он чувствовал, как одеяло согревает его ноги, как голова давит на затекшую руку. Где именно совершалась процедура "физической ликвидации"? Почему-то Рубашову представилось, что это должно происходить в подвале, под парикмахерской, там, куда вела уходившая вниз лестница. Рубашов ощутил запах кожи глеткинской портупеи, слышал, как скрипит отутюженный мундир. Что палач говорит своей жертве? "Станьте лицом к стене"? Добавляет ли он "пожалуйста"? Или, может быть, он говорит: "Не бойтесь, это не больно"? А может быть, он стреляет без предупреждения, сзади, пока они идут по коридору? Но ведь осужденные, если их повести вниз, в подвал, будут все время оглядываться назад. Или он прячет пистолет в рукав, как зубной врач прячет свои щипцы? Или присутствуют при этом и другие люди? Как они выглядят? Падает ли человек навзничь или лицом вниз? Выкрикивает ли он что-нибудь перед смертью? Может быть, для того, чтобы его прикончить, приходится всаживать в него вторую пулю?

Рубашов курил и продолжал смотреть на пальцы своих ног. Было так тихо, что он слышал потрескивание горящей сигареты. Он глубоко затянулся. "Вздор!— сказал он сам себе.— Так бывает только в бульварных романчиках". На самом деле Рубашов не верил в то, что "физическая ликвидация" — это реальность. Смерть — это абстракция, особенно своя собственная смерть. Может быть, сейчас уже все кончено — а ведь прошлое всегда нереально. Было темно и тихо, № 402 не подавал никаких признаков жизни.

Рубашову хотелось, чтобы снаружи раздался какой-нибудь вопль. Только бы разорвать эту проклятую тишину! Он втянул ноздрями воздух и почувствовал, что уже некоторое время вдыхает запах Орловой. Этим запахом всегда были пропитаны даже ее сигареты. Рубашов пом-

нил: она носила в сумочке кожаный портсигар, и сигареты в портсигаре пахли ее пудрой.

Ничто не нарушало тишины. Только когда он менял положение, чуть поскрипывала койка.

Как раз когда Рубашов решил, что надо встать и закурить еще одну сигарету, стук в стену возобновился:

— ИДУТ.

Рубашов прислушался, но услышал только, как кровь бьет в висках. Он подождал. Тишина сгущалась. Он снял пенсне и отстучал:

— НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ.

Некоторое время № 402 не отвечал. Внезапно он застучал громко и резко:

— № 380. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Рубашов резким движением сел на койку. Он понял. Сосед заключенного № 380 сообщил эту новость заключенному № 384, тот — заключенному № 386 и так далее: новость уже была передана через одиннадцать камер, до камеры № 402. Заключенные через тьму и тишину образовали акустическую цепь. Они были беззащитны, заперты в четырех стенах, но этим способом они выражали чувство товарищества. Рубашов соскочил с койки, босиком подбежал к противоположной стене, стал рядом с парашей и отстучал заключенному № 406:

— ВНИМАНИЕ. СЕЙЧАС БУДЕТ РАССТРЕЛЯН №380. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Он прислушался. От параши несло вонью — этот запах вытеснил запах Орловой. Ответа не было. Рубашов поспешил вернуться к койке. На этот раз он выстучал не оправой пенсне, а костяшками пальцев:

— КТО ТАКОЙ № 380?

Ответа снова не последовало. Рубашов догадался, что № 402, как и он сам, мечется, подобно маятнику, от одной стены к другой. Заключенные в одиннадцати камерах бесшумно сновали босиком от одной стены к другой. № 402 снова вернулся к рубашовской стене и отстучал:

— ЕМУ ЧИТАЮТ ПРИГОВОР. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Рубашов повторил свой вопрос:

— КТО ОН?

Но № 402 уже снова отошел от стены. Передавать что бы то ни было Рип ван Винклю не имело никакого смысла, но Рубашов все-таки перешел к стене, у которой стояла параша, и отстучал сообщение. Им руководило какое-то подсознательное чувство: цепь не должна оборваться. От запаха параши его начало мутить. Он вернулся к койке и ждал. Снаружи все еще не доносилось ни звука. Говорила только стена:

— ОН ЗОВЕТ НА ПОМОЩЬ.

— ОН ЗОВЕТ НА ПОМОЩЬ,— отстучал Рубашов Рип ван Винклю и прислушался: ни звука.

Рубашов боялся, что, когда он в следующий раз подойдет к параше, ему станет дурно.

— ЕГО ВЫВОДЯТ. ОН КРИЧИТ И СОПРОТИВЛЯЕТСЯ. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ,— отстучал №402.

— КАК ЕГО ЗОВУТ?— быстро отстучал Рубашов, еще до того, как № 402 успел окончить фразу. На этот раз он наконец добился ответа:

— БАГРОВ. ОППОЗИЦИОНЕР. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

У Рубашова вдруг подкосились ноги. Он прислонился к стене и отстучал Рип ван Винклю:

— БУДЕТ РАССТРЕЛЯН МИХАИЛ БАГРОВ, БЫВШИЙ МАТРОС БРОНЕНОСЦА "ПОТЕМКИН", КОМАНДУЮЩИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФЛОТОМ, КОГДА-ТО НАГРАЖДЕННЫЙ ПЕРВЫМ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ОРДЕНОМ.

Его вырвало в парашу, и после этого он закончил фразу:

— ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Рубашов не мог вспомнить лицо Багрова, но помнил его гигантскую фигуру, огромные, неуклюжие руки, веснушки на широком, плоском лице, чуть курносый нос. После 1905 года Рубашов с Багровым вместе жили в ссылке. Рубашов учил Багрова читать и писать и втолковывал ему основы политграмоты. С тех пор, где бы Рубашов ни был, дважды в год он неукоснительно получал письмо, написанное от руки и неизменно кончавшееся словами: "Ваш товарищ до гроба Михаил Багров".

— ИДУТ,— отстучал № 402 поспешно и так громко, что Рубашов, все еще стоявший около параши, услышал стук через всю камеру.

— СТАНЬТЕ У ГЛАЗКА, КОЛОТИТЕ В ДВЕРЬ. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Рубашов весь сжался. Он отстучал сообщение в противоположную стену:

— СТАНЬТЕ У ГЛАЗКА, КОЛОТИТЕ В ДВЕРЬ. ПЕРЕДАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Потом он прошел к двери камеры и стал ждать. Стояла такая же мертвая тишина, как и прежде.

Спустя несколько секунд снова раздался стук:

— ВОТ.

Издали из коридора стали доноситься глухие низкие звуки: заключенные барабанили по своим дверям. Это не было похоже ни на стук, ни на грохот: заключенные камер с 380 по 402, образовавшие акустическую цепь, стояли у своих дверей, во мраке, как почетный караул, и поразительно точно воспроизводили приглушенный, торжественный барабанный бой, доносимый издали ветром. Рубашов стоял, не отрываясь от глазка. Он присоединился к хору, начав в том же ритме бить обеими руками по своей двери. К его удивлению, тот же приглушенный звук раздался и справа, из камеры № 406, а потом и дальше. Видимо, Рип ван Винкль все-таки понял, в чем дело: он тоже барабанил по двери. В то же время слева, еще вне пределов видимости, послышался лязг открываемых железных дверей. Барабанная дробь слева от него усилилась. Рубашов понял, что открыли железную дверь, отделявшую одиночные камеры от общих. Он услышал, как зазвякала связка ключей: дверь снова запирали. Затем раздался стук приближающихся шагов. Его сопровождал странный, скребущий звук, как будто что-то колотилось и терлось о каменный пол. Волна барабанной дроби слева нарастала постоянным, сдавленным крещендо. В поле зрения Рубашова — между камерами № 401 и № 407 — по-прежнему ничего не было видно. Скрежещущий звук быстро приближался.

Теперь Рубашов уже начал различать какой-то жалобный скулеж, как будто хныкал ребенок. Шаги участились, барабанная дробь слева от него стала стихать, а справа усилилась.

Рубашов продолжал барабанить в дверь. Постепенно он потерял ощущение времени и пространства и слышал только гулкие удары, словно вокруг были африканские джунгли, в которых звучали тамтамы, или же словно обезьяны бесновались у себя в клетках, колотя по решеткам. Рубашов не отрывал взгляда от глазка, то приподнимаясь на цыпочках, то снова опускаясь в ритме барабанного боя. Как и прежде, он видел перед собой в коридоре только блеклый, желтоватый свет электрической лампочки да двери камер от № 401 до № 407. Но грохот барабанов усиливался, и скребущие, скрежещущие звуки приближались. Вдруг в коридоре появились перед ним темные силуэты. Они! Рубашов перестал стучать по двери и замер. Спустя несколько секунд уже ничего не было видно.

Но то, что Рубашов увидел за эти секунды, навсегда врезалось ему в память. Расплываясь в тусклом электрическом свете, по коридору прошли двое верзил в форме охраны. Они волокли человека, подхватив его под мышки. Он повис у них на руках, он обмяк, как куль, с отвисшим вниз животом, лицом к полу. Ноги его волочились, ботинки катились по плитам, издавая тот самый скребущий звук, который был еще издали слышен. Рот был широко открыт, и седые пряди волос падали на лицо, покрытое каплями пота; и струйка слюны изо рта вытекала на подбородок. Когда его протащили настолько, что Рубашов ничего уже больше не видел,— вправо и дальше по коридору, — хныканье стало стихать, и сохранился лишь отзвук, лишь слабое эхо, в котором слышались три протяжных, жалобных звука:

- У-а-о!

Но перед тем как они повернули за угол в конце коридора, около парикмахерской. Багров неожиданно громко и отчетливо во весь голос выкрикнул дважды од-

но и то же слово, и на этот раз Рубашов понял не только протяжные, жалобные гласные звуки, но разобрал все это слово — он ясно его расслышал,— это была его собственная фамилия:

— Ру-ба-шов!

И затем, как по команде, все стало тихо. Электрические лампочки горели, как горели всегда, коридор был пуст, как всегда. Только из камеры № 406 доносился обычный стук:

— ВСТВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ!

Рубашов снова лежал у себя на койке. Он не помнил, как на нее лег. У него в ушах до сих пор грохотал барабанный бой, но теперь вокруг была настоящая тишина — тишина, которая приносит успокоение. Его сосед, № 402, наверно, заснул. А Багров — или то, что от него еще оставалось — был уже мертв.

"Рубашов! Рубашов!" Последний возглас Багрова отпечатался у него в памяти. А то, что он видел, он помнил куда как более смутно. Рубашов никак не мог поверить, что это действительно был Багров — этот обвисший куль, неподвижный, как кукла, с мокрым от пота лицом, со струйкой слюны изо рта, с волочащимися ногами. Только седые волосы были те же, какими он их помнил. Что они сумели сделать с Багровым? Что они сделали с ним, если этот гигант-матрос мог лишь выть и хныкать, как ребенок? Неужели точно так же хныкала и Орлова, когда они волокли ее по коридору на смерть?

Рубашов сел на койке и прижался лбом к стене, за которой спал № 402. Он боялся, что его снова начнет тошнить. До сих пор он никогда не представлял себе, как могла умереть Орлова. Ее смерть всегда была для него чем-то абстрактным. Когда он вспоминал о том, как он повел себя по отношению к ней, его всегда охватывало чувство неловкости, но он ни на миг не усомнился в том, что был логически прав. Теперь, когда весь его желудок переворачивало рвотой, он понял: то, что он сделал, было безумием. Жалобное хныканье Багрова не оставило от

логического умозаключения камня на камне. Возникшая в его воображении картина, как изящные туфли Орловой на высоких шпильках волочатся и скребут по полу, начисто уничтожила математическое равновесие. Непомерное, огромное значение приобрел незначительный коэффициент — хныканье Багрова, нечеловеческие звуки, в которых прозвучало его, Рубашова, имя, глухой бой барабанной дроби,— все это ворвалось к нему в уши, заглушило голос рассудка и задушило этот голос, как морской прилив душит предсмертный вопль утопающего.

7

Рубашов стонал во сне: ему снова снился его первый арест. Рука, вяло свисавшая с койки, потянулась было, чтобы попасть в рукав халата. Рубашов ждал удара, но удара не последовало.

Он проснулся потому, что в номере неожиданно вспыхнул свет. Кто-то стоял около койки, глядя на Рубашова. Рубашов, вероятно, успел проспать всего каких-нибудь минут пятнадцать, но после того, как ему снился арест, всегда проходило несколько минут, пока он приходил в себя. Рубашов заморгал от яркого света. Мозг его сразу же начал мучительно трудиться над обычным вопросом, что это могло означать, будто выполняя какой-то бессознательно усвоенный обряд. Рубашов находился в тюремной камере — но не во вражеской же стране,— значит, это был только сон, значит, он был на свободе. Но над головой у него не висела цветная литография с портретом Первого, а у противоположной стены он явственно видел парашу. Кроме того, у изголовья койки стоял Иванов. Он курил и пускал колечки дыма в лицо Рубашову. Может быть, и это только сон? Нет, Иванов был вполне реален, да и параша тоже. Рубашов находился в своей родной стране, но эта страна стала страной вражеской. И Иванов, который когда-то был его другом, теперь стал врагом. И жалобный плач Орловой тоже ему не приснился. Да нет, это же была не Орлова, а Багров, которого проволокли по коридору, как куль с песком. Багров, товарищ до

гроба Багров,— и Багров выкрикнул его имя, это был тоже не сон. А Орлова когда-то сказала: "Вы всегда сможете сделать со мной все, что захотите..."

— Ты себя плохо чувствуешь?— спросил Иванов.

Рубашов взглянул на него, все еще щурясь от яркого света.

— Дай мне халат,— сказал он.

Иванов внимательно наблюдал за ним. Правая щека Рубашова вспухла.

— Хочешь немного коньяку?— спросил Иванов.

Не дожидаясь ответа, он, припадая на одну ногу, подошел к двери и что-то крикнул в коридор. Рубашов, моргая, следил за ним. Он никак не мог прийти в себя после сна. Он проснулся, но все, что он видел, слышал и думал, доходило до него, как сквозь дымку.

— Тебя что, тоже арестовали?— спросил он.

— Нет,— спокойно ответил Иванов.— Я пришел тебя проведать. По-моему, у тебя поднялась температура.

— Дай сигарету,— сказал Рубашов.

Он сделал несколько глубоких затяжек, и взгляд его стал более осмысленным. Он снова лег на спину и, выпуская колечки дыма, уставился в потолок. Дверь камеры отворилась, надзиратель принес бутылку коньяка и стакан. На сей раз это был не старик ключник, а худой парень в форме. На нем были очки в металлической оправе. Он отдал Иванову честь, вручил ему бутылку и стакан и вышел, закрыв за собою дверь. Слышно было, как в коридоре затихли его шаги.

Иванов сел на край койки и налил коньяк в стакан.

— Выпей,— сказал он.

Рубашов выпил. Туман в голове рассеялся. События и люди: его первый арест, второй арест, Орлова, Багров, Иванов,— все заняли свои места во времени и в пространстве.

— Тебе нехорошо?— спросил Иванов.

— Нет,— ответил Рубашов.

Одного он не мог понять: что Иванову нужно у него в камере?

— Щека у тебя жутко распухла. Наверно, у тебя температура.

Рубашов встал с койки, посмотрел через глазок в коридор: там было пусто. Он несколько раз прошелся по камере, чтобы в голове у него окончательно прояснилось. Затем он остановился перед Ивановым, который по-прежнему сидел на койке и терпеливо курил, пуская кольца дыма.

— Что тебе нужно?— спросил Рубашов.

— Я хочу с тобой потолковать,— ответил Иванов.— Ложись и выпей еще немного.

Рубашов бросил на него насмешливый взгляд сквозь пенсне:

— До сих пор,— сказал он,— я пытался убедить себя, что ты действуешь,исходя из добрых побуждений. Но сейчас я вижу, что ты просто свинья. Убирайся отсюда вон!

Иванов не пошевелился.

— Может быть, ты будешь так любезен, что разъяснишь мне, какие у тебя основания для такого утверждения.

Рубашов прислонился к стене, смежной с камерой № 406, и посмотрел на Иванова. Тот невозмутимо курил.

— Во-первых,— сказал Рубашов,— ты знал о моей дружбе с Багровым. Поэтому ты позаботился о том, чтобы Багрова, или, вернее, то, что от него осталось,— в его последний путь протащили мимо моей камеры: как предостережение. А чтобы я случайно не пропустил этот спектакль, ты устроил так, чтобы в тюрьме заранее распространился слух о его казни, предполагая, что мои соседи мне об этом простучат,— как это и случилось. Мало того, ты придумал особенно изящную мизансцену: Багрову сказали, что я здесь, в тюрьме,— притом сказали как раз сразу перед тем, как вывести его из камеры. Расчет был на то, что этот последний психологический шок побудит его выкинуть что-нибудь особенное,— и опять же так и случилось. Все это было сделано, чтобы я впал в глубокую депрессию. И вот в этот-то самый трагический час моей жизни появляется deusex machina, ангел-хранитель, товарищ Иванов с бутылкой коньяка. Далее

следует трогательная сцена примирения, мы падаем друг другу в объятия, обмениваемся боевыми воспоминаниями, а заодно я подписываю свое признание. После этого заключенный погружается в блаженный сон, а товарищ Иванов, с признанием в кармане, на цыпочках удаляется, и через несколько дней его повышают в чине... А теперь, будь любезен, убирайся отсюда вон!

Иванов не пошевелился. Он продолжал пускать кольца дыма и улыбался, демонстрируя свои золотые зубы.

— Ты действительно считаешь меня таким идиотом?— спросил он.— Или, точнее: ты действительно считаешь, что я так плохо разбираюсь в человеческой психологии?

Рубашов пожал плечами.

— Меня мутит от твоих грязных трюков,— сказал он,— Я не могу вышвырнуть тебя отсюда силой, но, если у тебя осталась хоть капля порядочности, оставь меня в покое. Ты даже не представляешь себе, до чего вы все мне противны.

Иванов взял с пола стакан, наполнил его коньяком и выпил.

— Я предлагаю заключить соглашение,— сказал он.— Ты не прерываешь меня пять минут и внимательно слушаешь все, что я тебе скажу. Если ты после этого будешь настаивать на том, чтобы я ушел...

— Я слушаю,— сказал Рубашов.

Он стоял, прислонившись к противоположной стене, и поглядывал на часы.

— Во-первых,— сказал Иванов,— чтобы у тебя не было никаких сомнений и иллюзий, должен тебе сообщить, что Багрова действительно расстреляли. Во-вторых, он находился в тюрьме несколько месяцев, а в последние дни его пытали. Если ты упомянешь об этом во время открытого судебного процесса или даже простучишь об этом соседям, мне крышка. За что расстреляли Багрова, об этом мы поговорим позже. В-третьих, его действительно умышленно провели мимо твоей камеры и ему умышленно сообщили о том, что ты тоже здесь. И, в-четвертых, этот, как ты выражаешься, грязный трюк придумал не я,

а мой коллега Глеткин, который действовал вопреки моим четко выраженным указаниям.

Он на мгновение умолк. Рубашов продолжал молча стоять, прислонившись к стене.

— Я бы такой глупости никогда не сделал,— продолжал Иванов.— И не из уважения к твоим тонким чувствам, а потому, что это идет вразрез с моей тактикой и с моими представлениями о твоем характере. Недавно ты выказал явную склонность ко всяким интеллигентским сомнениям, угрызениям совести и прочей сентиментальной дребедени. Кроме того, ты все еще не в своей тарелке из-за истории с Орловой. Сцена с Багровым могла лишь усилить твою жалостливость и твои морализаторские наклонности, это легко было предвидеть. Только такой невежда в области психологии, как Глеткин, мог так напортачить. За последние дней десять Глеткин буквально мне все уши прожужжал, требуя, чтобы к тебе применили "жесткие методы". Прежде всего ты ему не по душе, потому что он увидел у тебя дырки в носках, а во-вторых, он вообще привык иметь дело с мужиками. Это — об истории с Багровым. Что же касается коньяка, то я его потребовал, потому что, когда я вошел, ты был сам не свой. Не в моих интересах тебя спаивать. И не в моих интересах наносить тебе психические травмы. Все это только увеличивает твою морализаторскую экзальтацию. Мне нужно, чтобы ты был трезв и мог логически мыслить. Я хочу, чтобы ты спокойно обдумал свое дело и пришел к логическим выводам. Потому что только после того, как ты сделаешь эти выводы, ты наконец капитулируешь.

Рубашов пожал плечами, но не успел еще ничего сказать, как Иванов опередил его.

— Я знаю, ты убежден, что ни за что не капитулируешь. Скажи мне только одну вещь: если ты убедишься в логической необходимости и объективной целесообразности капитуляции, ты сдашься?

Рубашов помедлил с ответом. Он смутно чувствовал, что разговор начинает принимать нежелательный оборот. Пять минут давно прошли, но он не требовал, чтобы Ива-

нов ушел. Уже это казалось ему предательством — по отношению к Багрову, и к Орловой, и даже к Рихарду и Малышу Луви.

— Уходи,— сказал он Иванову.— Все это бесполезно.

Только сейчас Рубашов заметил, что он уже некоторое время, сам того не замечая, ходит взад и вперед по камере.

Иванов продолжал сидеть на койке.

— Судя по твоему тону,— сказал он,— я понимаю, что ты осознал свою ошибку относительно моей роли в сцене с Багровым. Так почему же ты хочешь, чтобы я ушел? Почему ты не отвечаешь на мой вопрос?

Он чуть наклонился вперед и насмешливо посмотрел прямо в лицо Рубашову. Затем он медленно, подчеркивая каждое слово, сказал:

— Потому что ты меня боишься. Потому что ход моих мыслей и мои аргументы — это и твой ход мыслей, это и твои аргументы. И ты боишься, что все это — эхо, которое звучит у тебя в мозгу. Еще минута, и ты закричишь: "Изыди, Сатана!"

Рубашов не ответил. Он расхаживал взад и вперед перед Ивановым. Он чувствовал полнейшую беспомощность, чувствовал, что он не способен ничего возразить. Сознание своей вины — того, что Иванов назвал "морализаторской экзальтацией",— нельзя было выразить в логических формулировках, оно лежало в сфере "грамматического измышления". И в то же время каждая фраза Иванова действительно вызывала в нем эхо. Рубашов чувствовал, что не должен был позволить вовлечь себя в этот спор. Ему казалось, что он находится на гладкой наклонной плоскости и постепенно, неотвратимо катится по ней вниз.

— Apage, Satanas! — повторил Иванов и снова наполнил свой стакан.— В былые дни искушению обычно подвергалась плоть, теперь искушают доводами чистого разума. Происходит переоценка ценностей. Я с удовольствием написал бы мистерию, в которой Бог и Дьявол борются за душу Святого Рубашова. После жизни, проведенной во грехе. Святой Рубашов обратился к Богу — к Богу с двойным подбородком, состоящим из индустриального либерализма и благотворительных супчиков Армии Спасения. А Сатана, наоборот,— худой, аскетичный,— фанатически привержен логике. Он читал Маккиавелли, Игнатия Лойолу, Маркса и Гегеля. Он внешне холоден и безжалостен к человечеству, но это объясняется своего рода математически рассчитанным сочувствием к человечеству. Он осужден всегда делать то, что ему противно: он убивает, чтобы искоренить убийства, он приносит в жертву ягнят, чтобы в будущем никого больше не приносили в жертву, он хлещет людей кнутом, чтобы они научились не позволять хлестать себя кнутом, и он подавляет в себе малейшие угрызения совести для того, чтобы восторжествовала высшая совесть, и он вызывает к себе ненависть человечества из-за своей любви к человечеству — из-за абстрактной любви, выверенной геометрически точными законами. Apage, Satanas! Товарищ Рубашов жаждет мученического венца! Журналисты либеральных газет, которые ненавидели его при жизни, возведут его после смерти в ранг святого. Он открыл, что существует совесть, а совесть так же подобает революционеру, как двойной подбородок. Совесть разъедает мозг, как рак, пока не сожрет все серое вещество. Сатана побежден и покидает поле боя — но не подумай, что он скрежещет зубами и брызжет огнем от ярости. Он просто пожимает плечами. Он худ и аскетичен. Он видел, как многие слабели духом и под самыми возвышенными предлогами покидали ряды его воинства.

Иванов умолк и снова налил себе коньяку. Рубашов продолжал мерить шагами камеру. Немного помолчав, он сказал:

— Почему вы расстреляли Багрова?

— Почему? Из-за тех подводных лодок,— сказал Иванов.— Спор шел об их водоизмещении. Это старый спор, ты наверняка помнишь его начало. Багров считал, что надо строить подводные лодки крупного водоизмещения и с большим радиусом действия. Партия придерживается

противоположной точки зрения: нужны небольшие подводные лодки с ограниченным радиусом действия. Три таких лодки стоят столько же, сколько одна большая. У обеих сторон были серьезные технические и экономические аргументы; специалисты демонстрировали огромное количество схем и оперировали алгебраическими формулами. Однако дело было совсем не в технических или экономических соображениях, а в другом. Большие подлодки нужны для захвата чужих территорий — то есть в нашем случае для развертывания Мировой Революции. А маленькие лодки строятся для защиты прибрежных вод — то есть для самообороны,— и, таким образом, упор на них означает временный отказ от курса на Мировую Революцию. Второй подход — это точка зрения Первого и Партии.

— У Багрова,— продолжал Иванов,— было много сторонников в Наркомате военно-морского флота и среди старых кадровых флотских командиров. Недостаточно было просто снять Багрова с его поста, его надо было дискредитировать. Планировалось провести открытый процесс, на котором сторонники больших подлодок были бы разоблачены как вредители и враги народа. Мы уже добились от нескольких мелких инженеров согласия дать на суде любые показания. Но с Багровым ничего не получилось. Он до конца продолжал защищать идеи подлодок крупного водоизмещения и идею Мировой Революции. Он отстал от жизни на целых двадцать лет. Он не хотел понять, что время работает против нас, что в Европе сейчас период реакции, что буря сбросила нас вниз, между волнами, и надо подождать, пока вода нас подхватит и снова вынесет на гребень следующей волны. Если бы Багрова выставили на открытый процесс, он только вызвал бы смятение среди народа. Поэтому нам не оставалось ничего другого, как ликвидировать его в административном порядке. А разве ты на нашем месте не сделал бы то же самое?

Рубашов не ответил. Он прекратил ходить по камере и снова прислонился к стене, смежной с камерой № 406,

рядом с парашей. От параши поднималась волна удушливой вони. Рубашов снял пенсне и взглянул на Иванова глазами загнанного животного.

— Ты не слышал, как он скулил,— сказал он.

Иванов прикурил новую сигарету от окурка прежней. Его тоже начала донимать вонь от параши.

— Нет,— сказал он.— Не слышал. Но я много раз слышал и видел такие вещи. Ну, он скулил. Ну, и что из того, что он скулил?

Рубашов не ответил. Какой смысл объяснять? Хныканье Багрова и глухой барабанный бой снова проникли к нему в уши как дальнее эхо. Передать это — слова были бессильны. Так же, как бессильны передать, что такое теплая грудь Орловой с мягким, крутым изгибом. Слова вообще бессильны что-нибудь передать. В записке, которую Рубашову дал парикмахер, было написано: "Умри молча".

— Ну, и что из того?— повторил Иванов.

Он вытянул ноги и ждал. Так и не дождавшись ответа, заговорил снова:

— Имей я к тебе хоть каплю жалости, я бы сейчас оставил тебя одного. Но жалости у меня нет. Я пью. Иногда принимаю наркотики. Но голос жалости во мне пока не звучит. Стоит чуть-чуть поддаться жалости — и ты погиб. Люди ужасно любят рыдать над участью человечества и оплакивать самих себя. Это — отрава, которая погубила величайших поэтов. До сорока, до пятидесяти лет они были революционерами, а потом ударились в жалость, и мир причислил их к лику святых. Тебе, наверно, хочется того же, и ты веришь, что это тебя вознесет, возвысит, сделает тебя особой личностью, непохожей на других людей. Бойся этого восторженного возбуждения. К сожалению, лишь немногие люди — и главным образом в нашей стране — сумели понять, что возбуждение, которое вызывается жалостью и состраданием, так же дешево стоит, как и возбуждение после приема наркотиков. Когда я тогда в госпитале очнулся после наркоза и обнаружил, что мое тело заканчивается на левом колене, я

тоже был очень возбужден своим несчастьем, я испытывал какую-то экстатическую жалость к самому себе. Помнишь, какую нотацию ты мне тогда прочел?

Иванов налил себе еще коньяку, выпил и продолжал:

— Я хочу сказать вот что. Мир — это тебе не какой-то метафизический бордель для разрядки эмоций. Такова наша первая заповедь. Жалость, совесть, отвращение, раскаяние, кара и воздаяние — все это нам противно, как грязный разврат. Усесться, скрестив ноги, и созерцать свой пупок или же просто отвернуться и подставить затылок под глеткинскую пулю — это легче всего. Больше всего нам хотелось бы отказаться от насилия, раскаяться, примириться со своей совестью. Перед этим искушением не устояло большинство великих революционеров, от Спартака до Дантона и Достоевского. Это классический пример измены своему делу. Бог всегда искушает сильнее, чем Сатана. Но пока в мире царит хаос, Бог всегда будет анахронизмом, и каждый компромисс со своей совестью — это предательство. Когда с тобой говорит твой проклятый внутренний голос — заткни себе уши.

Иванов потянулся за бутылкой и снова налил в стакан коньяку. Рубашов обратил внимание, что полбутылки уже выпито. "А ведь и тебе тоже нужно какое-то утешение",— подумал он.

— Величайшие преступники в истории,— продолжал Иванов,— это вовсе не такие люди, как Нерон или Фуше, а такие, как Лев Толстой или Ганди. Внутренний голос Ганди гораздо больше препятствует освобождению Индии, чем английские пушки. Продать себя за тридцать сребреников — это честная торговая сделка, а вот продать себя своей собственной совести — это измена человечеству. История a priori безнравственна, у истории никакой совести нет. И пытаться делать историю, руководствуясь наставлениями учительницы из воскресной школы,— это значит оставить все как есть. Ты это знаешь не хуже меня. Ты знаешь, что сейчас поставлено на карту,— и ты мне бормочешь какую-то чушь о том, как скулил Багров.

Иванов залпом осушил стакан и добавил:

— Или о том, что тебя мучит совесть из-за этой толстухи Орловой.

Рубашов давно знал, что Иванов может выпить чертову пропасть, и при этом всем вокруг кажется, что у него ни в одном глазу, разве что он начинает особенно тщательно и отчетливо выговаривать слова. "Да, действительно, тебе нужно утешение, — подумал Рубашов. — Может быть, даже больше, чем мне ".

Он сидел напротив Иванова на жестком табурете и слушал. Иванов не говорил ничего нового, все это он проповедовал уже много лет почти в тех же самых словах. Но разница была в том, что сейчас Рубашов понял те внутренние процессы, о которых Иванов презрительно отзывался как о морализаторских абстракциях. Сейчас Рубашов понял, что "грамматическое измышление" — это физическая реальность его собственного тела. Когда год назад он послал на смерть Орлову, у него не хватало воображения представить себе подробности смертной казни. Теперь же, когда он кое-что понял, — интересно, поступил ли бы он теперь так, как тогда, или повел бы себя иначе? Правильное ли это было решение — принести в жертву Рихарда, Орлову, Малыша Луви? Но такие вещи, как заикание Рихарда, округлость грудей Орловой или хныканье Багрова, — какое отношение все это имело к тому, правильно или неправильно он поступил?

Рубашов поднялся и снова принялся ходить по камере. Все, что случилось с ним после ареста, — это, он чувствовал, только прелюдия. Логические размышления завели его в тупик, за которым уже начинался, по выражению Иванова, "метафизический бордель", — и теперь он опять должен начать сначала. Но много ли времени ему осталось? Рубашов подошел к койке, взял из рук Иванова стакан и выпил его до дна. Иванов наблюдал за ним.

— Вот так-то лучше, — сказал он улыбнувшись. — Монологи в форме диалога — это полезное изобретение. По-моему, я хорошо воспроизвел голос демона-искусителя. Жаль, что нет другого оппонента. Но это — его обыч-

ная тактика: он никогда не дает вовлечь себя в логический диспут. Он набрасывается на человека тогда, когда тот беззащитен, когда тот один, и устраивает эффектные спектакли: зажигает куст или окутывает облаками горные пики; а особенно он любит спящие жертвы. Признай, что методы этого великого моралиста — слишком театральны и довольно нечестны.

Рубашов уже не слушал. Ходя взад и вперед по камере, он думал о том, принес ли бы он сейчас в жертву Орлову, будь она жива. Он остановился перед Ивановым и спросил:

— Ты помнишь Раскольникова?

Иванов ехидно улыбнулся.

— Можно было ожидать, что рано или поздно это придет тебе в голову. "Преступление и наказание". Пожалуй, на тебя действительно находит какой-то маразм, ты становишься инфантильным...

— Постой, постой! — сказал Рубашов, не переставая в возбуждении расхаживать по камере. — Все это —только слова, а давай ближе к делу. Как я помню, проблема заключается в том, имеет ли Раскольников моральное право убить старуху? Он молод, талантлив, перед ним раскрываются широчайшие возможности, А она стара и бесполезна людям. Казалось бы, все ясно. Но уравнение рассыпается. Прежде всего обстоятельства вынуждают его убить невинного человека. Это — непредвиденное и нелогичное следствие, вытекающее из, казалось бы, простого логического действия. Но даже если бы не было Лизаветы, уравнение все равно бы рассыпалось — потому что Раскольников обнаруживает, что когда речь идет о людях, то дважды два — это не четыре.

— Вот-вот! — сказал Иванов. — Если хочешь знать мое мнение, то все тиражи этой книги нужно сжечь. Да представь себе на минуту, что было бы, если бы мы буквально следовали всей этой сентиментальной философии, которую писатели высокопарно называют "человечностью", — если бы мы всерьез восприняли, что человеческая жизнь священна и что с людьми не следует обращаться

согласно математическим законам. Это означало бы, что командир полка не смог бы пожертвовать передовым охранением, чтобы спасти от гибели весь полк. Это означало бы, что мы не имеем права пожертвовать несколькими дураками, вроде Багрова, не рискуя при этом, что через пару лет наши прибрежные города будут сметены с лица чемли.

Рубашов покачал головой.

— Ты берешь в пример войну. Но война — это исключительное обстоятельство...

— С тех пор, как Уатт изобрел паровую машину, — скачал Иванов, — мир постоянно находится в исключительных обстоятельствах. Войны и революции — только внешние проявления этих обстоятельств. Впрочем, твой Раскольников — дурак и преступник: не потому, что он действует логично или нелогично, убивая старуху, а потому, что он делает это в своих личных, шкурнических интересах. Принцип, согласно которому цель оправдывает средства, относится только к политической этике. Все остальное — болтовня и пустые отговорки. Если бы Раскольников шмякнул старуху по приказанию Партии — например, для того, чтобы сделать вклад в забастовочный фонд, или для того, чтобы установить в квартире старухи нелегальный печатный станок, — тогда уравнение не рассыпалось бы и Достоевский со всей своей кашей в голове никогда не написал бы этого романа, и это было бы лучше для человечества.

Рубашов не ответил. Его все еще занимал вопрос: стал ли бы он теперь, после всего того, что он за последние дни понял, так же холодно посылать Орлову на смерть? Он не знал. Логически Иванов был во всем прав. Незримый оппонент молчал и тем только подчеркивал, что сказать ему нечего. И в этом Иванов был тоже прав: оппонент этот всегда был невидим, он никогда не вступал в логические споры и лишь нападал на людей, когда они беззащитны.

— Я не люблю, когда смешивают разные идеологии, — сказал Иванов. — Есть два этических принципа, и они про-

тивоположны один другому. Один — это христианский принцип человечности. Он провозглашает, что человеческая жизнь священна и что к людям неприменимы законы математической логики. А согласно второму принципу, коллективная цель оправдывает любые средства и при этом не только допускает, но даже требует, чтобы интересы отдельной личности всегда приносились в жертву интересам всего общества, которое должно иметь право физически ликвидировать эту личность ради своего блага — подобно тому, как ученый в лаборатории умерщвляет морскую свинку. Можно сказать, что в основе первого принципа лежит этика противников вивисекции, а в основе второго — этика сторонников вивисекции. Мошенники и дураки всегда пытались как-то примирить эти два принципа, найти какой-то средний путь. Но жизнь доказала, что это невозможно. Тот, на чьи плечи падает власть и ответственность, сразу же оказывается перед необходимостью выбрать один из этих двух принципов; и обычно логика истории неумолимо вынуждает его выбрать второй принцип. Помнишь ли ты, чтобы с тех пор, как христианство стало государственной религией, какое-нибудь государство на деле, а не на словах действительно следовало христианскому учению? Ни одного не назовешь. В трудные минуты — а у политиков каждая минута трудная, — в трудные минуты правители всегда говорят об "исключительных обстоятельствах", требующих исключительных мер. С тех пор, как возникли нации и классы, они вынуждены непрерывно обороняться, и поэтому они непрерывно откладывают осуществление своих гуманных принципов до лучших времен.

Рубашов глянул в окно. После оттепели снова схватил заморозок; снежный наст смерзся и блестел в электрическом свете, словно сделанный из желто-белых кристаллов. Часовой на стене, как заведенный, вышагивал с винтовкой на плече взад и вперед. Небо прояснилось, но луны не было видно; над пулеметной вышкой мерцал Млечный Путь.

Рубашов пожал плечами.

— Я признаю, — сказал он, — что нельзя совместить политику и человечность, уважение к отдельной личности и социальный прогресс. Я признаю, что учение Ганди — это несчастье для Индии. Признаю, что, если политик станет пыбирать только чистые средства, он ничего не сумеет добиться. Когда речь идет о том, чего делать нельзя, тут мы сходимся. Но если говорить о том, что делать можно и нужно, — посмотри, куда нас завел другой выбор.

— Ну, — спросил Иванов, — куда же?

Рубашов потер пенсне рукавом и близоруко сощурился на Иванова.

— В каком дерьме, — сказал он, — в каком дерьме мы сейчас сидим после всей нашей болтовни о том, что завтра наступит золотой век!

Иванов улыбнулся.

— Возможно, — сказал он безмятежно. — Но вспомни о Гракхах, о Сен-Жюсте, о Парижской Коммуне. До сих пор все революционеры были моралистами и дилетантами. Конечно, они всегда исходили из лучших побуждений, но все они погибли из-за своего дилетантства. Мы впервые в истории действуем последовательно.

— Да, — сказал Рубашов. — Мы так последовательны, что ради справедливого распределения земли мы сознательно за один год уморили голодом пять миллионов крестьян. Так последовательны, что ради освобождения людей от гнета промышленной эксплуатации мы послали десять миллионов человек в лагеря принудительного труда на Дальний Восток и на Север, и они живут там в таких условиях, в каких не жили галерные рабы в древнем мире. Мы так последовательны, что разрешаем все разногласия лишь одним доводом — смертной казнью,— независимо от того, идет ли речь о подводных лодках, об удобрениях или о политике Партии по отношению к Индокитаю. Наши инженеры трудятся, зная, что малейшая неточность и расчете может стоить им головы. Наши руководящие работники посылают на смерть своих подчиненных, потому что знают, что из-за пустячной ошибки их самих обвинят во вредительстве и пустят в расход.

Наши поэты разрешают свои дискуссии о проблемах стихотворной техники тем, что пишут доносы в органы государственной безопасности, потому что экспрессионисты считают, что натурализм — это контрреволюционный литературный стиль, и наоборот. В интересах будущих поколений мы заставили нынешнее поколение жить в такой жестокой нужде, что средняя продолжительность жизни сократилась на целую четверть. Чтобы обеспечить оборону нашего Революционного Государства, мы принимаем чрезвычайные меры и вводим временные законы, которые и по духу, и по букве противоречат всем целям Революции. Уровень жизни сейчас ниже, чем был до Революции; а условия труда у нас тяжелее, дисциплина жестче и работа монотоннее, чем у туземных кули в колониальных странах. Возраст, в котором можно расстреливать людей, мы снизили до двенадцати лет. Культ Вождя у нас такой, какому могут позавидовать самые реакционные диктаторы. Печать и школа воспитывают в людях шовинизм, милитаризм, догматизм, соглашательство и невежество. Правительство обладает неограниченной властью делать все, что ему вздумается, — властью, какой еще не знала история. Свобода печати, свобода слова, свобода передвижения сведена к нулю, как будто на свете никогда не существовало Декларации прав человека и гражданина. Мы создали самую мощную организацию тайной полиции, доносительство стало у нас национальной традицией, и по отношению к людям применяются самые изощренные физические и моральные пытки. Мы кнутом гоним страдающий народ к теоретическому светлому будущему, которого, кроме нас, никто не видит. Потому что силы нашего поколения на исходе, они были истрачены на то, чтобы совершить Революцию, а теперь народ истекает кровью, и от него остался лишь стонущий, онемелый, безразличный ко всему обрубок жертвенного мяса. Вот каковы последствия нашей последовательности. Ты называешь это этикой сторонников вивисекции. А по мне, мы во время эксперимента просто заживо содрали с жертвы кожу, оставив лишь голое мясо, мышцы и нервы.

— Ну, и что из того? — спокойно, даже весело спросил Иванов. — Да ведь это же чудесно! История не знала ничего подобного! Мы содрали с человечества старую кожу, чтобы дать ему новую. Конечно, эта работа — не для людей со слабой психикой. Но ведь когда-то эта операция и у тебя вызывала бурный восторг. Что же теперь с тобой сталось, что ты вдруг заделикатничал, как старая дева?

Рубашов хотел сказать: "Потому что я слышал, как Багров выкрикивал мою фамилию". Но он понимал, что отвечать так не имеет никакого смысла. Поэтому он ответил:

— Используя ту же метафору, я могу сказать: я вижу, что с нашего поколения содрана кожа, но никакой новой кожи нет. Все мы верили, что в истории можно экспериментировать, как в физике. Но разница в том, что в физике эксперимент можно повторить хоть тысячу раз, и в истории — только один раз. Дантона и Сен-Жюста можно лишь один раз послать на гильотину. И если в конце концов выяснится, что все-таки было более целесообразно строить большие подводные лодки, то товарища Багрова воскресить уже не удастся.

— Ну, и что из этого следует? — спросил Иванов. — Если мы не можем точно предвидеть все последствия наших действий — значит ли это, что мы должны сидеть сложа руки и что всякое действие есть зло? За все, что мы делаем, мы отвечаем собственной головой. Большего от нас нельзя требовать. Наши враги вовсе не так щепетильны. Любой болван в генеральском мундире ставит эксперименты с тысячами людей, и если он делает ошибку, то самое худшее, что его ждет,— это вынужденная отставка. У реакционеров и контрреволюционеров нет ни угрызений совести, ни этических проблем. Можешь ты себе представить, что Сулла, или Галифе, или Колчак начитались "Преступления и наказания"? Такие белые вороны, как ты, вьют себе гнезда только на революционных деревьях. А для наших противников все обстоит куда как проще,

Иванов взглянул на часы. В окне камеры брезжил

грязно-серый рассвет. Обрывок газеты, приклеенный к стеклу, шуршал на ветру. Часовой на стене все так же мерно вышагивал взад и вперед.

— Для человека с твоей биографией, — продолжал Иванов, — такой неожиданный поворот руля против социальных экспериментов просто наивен. Да ведь каждый год миллионы людей на земле гибнут от эпидемий и других стихийных бедствий, и от этого нет никакого проку. Так неужели же мы должны отказаться от самого многообещающего эксперимента в истории только потому, что ради него нужно принести в жертву каких-то несколько сотен тысяч людей? Я уже не говорю о том, сколько людей умирает от истощения, от чахотки, от силикоза, от непосильного труда в угольных и медных копях, на рисовых полях и хлопковых плантациях. Ни один черт о них не заботится, никто не спрашивает, почему да отчего. А если мы здесь расстреливаем пару тысяч человек, объективно вредных для общества, то доброхоты во всем мире сразу же начинают вопить во весь голос и пускать слезу. Да, действительно, мы ликвидировали наиболее паразитическую часть крестьянства, мы дали им всем передохнуть с голоду. Это была хирургическая операция, которую необходимо было сделать — раз и навсегда. Но ведь в добрые старые дни, до Революции, в любую засуху с голоду подыхало не меньше людей — только умирали они без смысла и цели. Во время разливов реки Янцзы в Китае число жертв исчисляется сотнями тысяч. Природа щедра на бессмысленные эксперименты над человечеством. Так почему же человечество не имеет права поэкспериментировать над самим собой?

Он остановился. Рубашов молчал.

— Тебе не приходилось, — продолжал Иванов, — видеть брошюры общества защиты животных? Просто сердце разрывается, когда читаешь про бедную, несчастную дворняжку, у которой вырезают печень, а она пищит и лижет руки своему мучителю. Тут от отвращения впору поехать в Ригу, как ты сегодня. Но если бы эти люди взяли верх, у нас не было бы сывороток против холеры, тифа и дифтерита.

Иванов вылил в стакан остаток из бутылки, зевнул, потянулся и встал. Он прохромал к окну, где стоял Рубашов, и поглядел на тюремный двор.

— Светает, — сказал он. — Рубашов, не будь же кретином. Все, что я тебе сегодня выложил, — это же азбучные истины, ты их знаешь не хуже меня. Я понимаю, у тебя была нервная депрессия. Теперь это прошло.

Иванов стоял у окна рядом с Рубашовым, положив руку ему на плечо. Голос его звучал почти нежно.

— А теперь, боевой конь, пойди, и выспись, и перес---ь закусывать удила. Утро вечера мудренее. Завтра нам обоим нужна ясная голова, чтобы сварганить твои показания. Не пожимай плечами — ты уже и сам почти уверен, что все подпишешь. Если ты сейчас начнешь это отрицать, то только потому, что заботишься о своем гоноре. А забота о своем гоноре многих уже довела до мученической смерти.

Рубашов поглядел на занимающийся серый рассвет. Часовой как раз поворачивался назад через левое плечо. Над пулеметной вышкой высвечивалось грязно-серое, с алым Отливом небо.

— Я еще подумаю, — помолчав, сказал Рубашов.

Но когда дверь за Ивановым закрылась, Рубашов понял, что фактически он уже сдался. Он бросился на койку, донельзя вымотанный, но с чувством какого-то странного облегчения. Он чувствовал себя так, словно его опорожнили, и досуха высосали, и в то же время избавили от давившей на него тяжести. Истошный вопль Багрова звучал у него в ушах уже не так резко. Кто может утверждать, что думать больше о живых, чем о мертвых, — это предательство?

Пока Рубашов спокойно, без сновидений спал — и зубная боль тоже у него утихла, — Иванов по пути в свой кабинет заглянул к Глеткину. Тот сидел в полной форме за

письменным столом и изучал дела. Уже много лет как он выработал у себя привычку по три-четыре раза в неделю работать всю ночь напролет. Когда Иванов вошел в комнату, Глеткин встал по стойке смирно.

— Все в порядке, — сказал Иванов. — Завтра он все подпишет. Но мне пришлось-таки попотеть, чтобы исправить последствия вашей глупости.

Глеткин не ответил. Он стоял навытяжку перед столом. Вечером, перед тем, как отправиться в рубашовскую камеру, Иванов очень грубо отчитал Глеткина, и Иванов знал, что Глеткин нелегко забывает, когда его шпыняют.

— Не будьте болваном, — сказал Иванов, пожимая плечами и выпуская в лицо Глеткину облако дыма. — У всех у вас слишком болезненное самолюбие. Вы бы на его месте были еще упрямее.

— У меня есть воля, а у него нет, — сказал Глеткин.

— Но зато у вас нет мозгов, — сказал Иванов. — За этот ответ вас следовало бы расстрелять у него на глазах.

Он заковылял к двери и с силой захлопнул ее за собой. Глеткин опять сел за стол. Он не верил, что Иванов добьется успеха, и в то же время боялся этого. В последней фразе Иванова прозвучала угроза, а у него никогда нельзя было понять, когда он шутит, а когда нет. Может, Иванов и сам себя не понимал — как все эти циники-интеллигентики.

Глеткин пожал плечами, поправил воротник и манжеты и снова принялся за работу.

Иной раз должно употреблять слова для сокрытия истинных обстоятельств. Однако делать это надлежит таким образом, дабы никто того не уразумел; а на случай, ежели кто-нибудь все-таки уразумеет, следует иметь наготове подобающее объяснение и незамедлительно представить его.

Маккиавелли, "Поучения синьору Рафаэлло Джиролами".

Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого.

Евангелие от Матфея, гл.5, ст.37.

ТРЕТИЙ ДОПРОС

I

Отрывок из дневника Н. З. Рубашова. Двадцатый день заключения:

Михаил Багров отстал от жизни. Сто пятьдесят лет тому назад, в день штурма Бастилии, маятник жизни Европы, долгое время находившийся в бездействии, неожиданно двинулся. Развив неудержимую инерцию, он смел тиранию и качнулся к свободе. В течение ста лет он двигался в одном направлении, в сторону демократических изменений. Но постепенно инерция маятника стала иссякать, скорость его замедлилась, и он приблизился к той точке, где ему неминуемо предстояло остановиться и начать движение в обратном направлении. Достигнув этой точки, маятник на секунду застыл в неподвижности, а затем начал движение назад, со все возрастающей скоростью. И та же инерция, которая ранее влекла маятник от тирании к свободе, теперь влечет его назад, от свободы к тирании. И у тех, кто, прильнув к маятнику, глядел только вперед, закружилась голова, и они свалились в бездну.

Тот же, кто не желает, чтобы у него закружилась голова, должен понять законы колебаний маятника. История, подобно маятнику, равномерно колеблется то вперед, то назад — от абсолютизма к демократии, а от демократии обратно к абсолютной диктатуре.

Степень личной свободы, которую люди могут завоевать и сохранить, зависит от степени их политической зрелости. То, что История движется подобно взмахам маятника, показывает, что эволюция политического сознания масс отнюдь не представляет собою постоянного поступательного движения (как это обычно бывает с отдельным индивидуумом), но повинуется гораздо более сложным законам.

Рост политической сознательности масс проявляется в том, что они становятся способны все лучше и лучше осознавать собственные интересы. Однако для этого необходимо определенное понимание процессов производства и распределения товаров. Таким образом, степень способности народа управлять своей страной на демократических основах прямо пропорциональна степени его понимания структуры и характера функционирования всего общественного организма.

Любое техническое усовершенствование вносит новое осложнение в экономическую структуру и порождает новые факторы и непредвиденные комбинации, которые массам до поры до времени бывают непонятны. Любой скачок технического прогресса оставляет относительное интеллектуальное развитие масс на шаг позади и таким образом вызывает падение ртути в термометре политического возмужания народа. Иногда проходит не один десяток лет, а то даже и жизнь целого поколения, пока уровень сознания народа постепенно приходит в соответствие с новым порядком вещей, и, таким образом, массы снова становятся в такой же степени способны управлять своей страной, в какой они были способны это делать на более ранней стадии цивилизации. Следовательно, политическую зрелость масс следует измерять не абсолютными, а только относительными цифрами — то

есть пропорционально той степени цивилизации, которой эти массы в данный момент достигли.

Когда уровень сознательности масс повышается настолько, что начинает соответствовать уровню объективного развития общества, неизбежным следствием этого является победа демократии, достигаемая либо мирным путем, либо при помощи насилия. Эта демократия сохраняется до тех пор, пока не происходит следующий скачок в развитии технического прогресса (например, изобретение механической прялки),— тогда массы снова становятся относительно незрелыми, и потому опять возникает необходимость в установлении какой-то формы авторитарного руководства.

Этот процесс можно сравнить с проходом судна через шлюзы вверх по течению реки, которая перегорожена плотиной. Входя в первый шлюз, судно находится на самом низком уровне воды, какой только в шлюзе возможен. Пока судно находится в шлюзе, уровень воды медленно поднимается, и вместе с ним поднимается судно, и наконец уровень воды достигает высшей точки, возможной в этом шлюзе. Однако это лишь относительная высота, а в абсолютном смысле она обманчива, ибо максимальный уровень воды в первом шлюзе равен минимальному уровню воды во втором шлюзе, куда судно входит, чтобы снова начать подъем. Стены шлюзов показывают объективную степень управления силами природы, степень технической цивилизации, а уровень воды в шлюзе в каждый данный момент — это степень политической сознательности масс. Бессмысленно было бы измерять в абсолютных цифрах уровень воды в каждом шлюзе по сравнению с уровнем моря, важно знать относительный уровень воды в шлюзе относительно его стенок.

Изобретение паровой машины дало толчок быстрому развитию объективного технического прогресса и, соответственно, столь же быстрому политическому регрессу. В масштабе Истории эпоха индустриализации все еще очень молода, и все еще очень велик разрыв между чрезвычайно сложной экономической структурой общест-

ва и степенью понимания ее массами. Таким образом, ясно, что уровень относительной политической зрелости народов в первой половине двадцатого века ниже, чем он был за двести лет до нашей эры или в конце феодальной эпохи.

Ошибка социалистической теории заключалась в том, что она утверждала, будто бы уровень политического сознания масс повышается постоянно и неуклонно. И потому-то эта теория оказалась беспомощной, когда начался последний взмах маятника и народы стали действовать во вред себе. Мы верили, что приспособление масс к изменившимся условиям происходит быстро, всего за несколько лет. Однако, как учит нас опыт всей мировой Истории, длительность этого процесса может измеряться иной раз даже столетиями. Народы Европы все еще не успели интеллектуально переварить последствия изобретения паровой машины. Капиталистическая система рухнет до того, как массы это осознают.

Что же касается нашей страны — Колыбели Революции,— то и у нас развитие сознания масс повинуется тем же самым законам, что и везде. Мы достигли следующего, более высокого шлюза, но вода в нем все еще находится на минимальном уровне. Новая экономическая система, пришедшая на смену старой, еще меньше понятна массам, чем старая. Приходится снова начинать сначала трудный и мучительный подъем. Возможно, сменится несколько поколений, пока люди сумеют понять новый порядок вещей, который они сами же создали, совершив Революцию.

Однако до тех пор, пока это не произойдет, демократическая форма правления невозможна. И та степень личной свободы, которую можно предоставить отдельному человеку, неизбежно должна быть у нас даже более урезана, чем в других странах. До тех пор, пока мы этого не достигнем, наши вожди вынуждены будут править в пустом пространстве. Если судить по классическим либеральным стандартам, такое зрелище — не из приятных. Однако весь тот террор, все то лицемерие и все то разложение, кото-

рые бросаются в глаза,— это всего лишь зримое и неизбежное выражение вышеуказанного закона. Заранее обречен тот глупец или эстет, который всегда спрашивает, как, и никогда не спрашивает, почему. Однако так же обречена и оппозиция в эпоху относительной несознательности масс — в такую эпоху, как наша.

Если массы доросли до существующего порядка вещей и осознали его, то оппозиция может и обязана апеллировать к народу. Однако в эпоху интеллектуальной незрелости масс одни лишь демагоги могут утверждать, что "народ — это высший суд". В таких случаях у оппозиции есть два выхода: либо захватить власть посредством государственного переворота, не рассчитывая при этом на поддержку масс, либо в безмолвном отчаянии броситься с маятника вниз, в пропасть,— то есть "умереть молча".

Есть еще и третий выход, не менее последовательный,— выход, который в нашей стране превратился в систему: если нет возможности воплотить свои убеждения в жизнь, то надо подавить в себе эти убеждения и отказаться от них. И коль скоро единственным нравственным критерием, который мы признаем, является критерий общественного блага, то публичный отказ от своих убеждений с целью остаться в Партии — это более почетный и достойный путь, чем донкихотское продолжение безнадежной борьбы.

А такие соображения, как личная гордость, или распространенное предубеждение против некоторых форм самоуничижения, или субъективные эмоции — например, усталость, отвращение, стыд,— все это следует от себя отсечь и вырвать с корнем.

2

Свои рассуждения о "маятнике" Рубашов начал записывать сразу же после сигнала утренней побудки, на другой день после казни Багрова и ночного визита Иванова. Когда принесли завтрак, он наскоро выпил чашку кофе, а к еде даже не прикоснулся. В течение нескольких послед-

них дней почерк у него был неуверенный и неровный, но теперь Рубашов снова стал писать четко и аккуратно, буквы сделались мельче, росчерки — острее и увереннее. Перечитывая написанное, Рубашов заметил эту перемену.

В одиннадцать утра его, как всегда, вывели на прогулку, и в работе пришлось сделать перерыв. Во дворе напарником Рубашова на сей раз оказался не Рип ван Винкль, а тощий крестьянин в лаптях. Рип ван Винкль вообще на прогулке не появился, и Рубашов только сейчас сообразил, что за завтраком он не слышал обычного "Вставай, проклятьем заклейменный". Бог знает, куда он теперь попал, этот жалкий, вылинявший мотылек, который не погиб, как другие мотыльки, прошлым летом, но чудом и неизвестно для чего пережил положенный ему срок жизни и теперь очнулся суровой зимой, для того лишь, чтобы несколько раз очумело трепыхнуть крылышками и тихо сгинуть, не привлекши ничьего внимания.

Крестьянин, шедший рядом с Рубашовым, сперва молча трусил с ним рядом, бросая на своего соседа любопытные взгляды. Окончив первый круг, он несколько раз прокашлялся и во время следующего круга осторожно сказал:

— Я из Т-ской губернии. Ваше благородие там когда-нибудь бывали?

Рубашов ответил, что не бывал. Т-ская губерния была где-то у черта на рогах, на востоке, и Рубашов очень смутно представлял себе, что это за место.

— Вестимо, это ой как далеко,— сказал крестьянин.— А ваше благородие — из политических?

Рубашов кивнул. Подошвы на лаптях у крестьянина прохудились, и он ступал босыми пальцами ног по свежеутоптанному снегу. У него была тощая шея, и он то и дело кивал в такт своим словам, словно читал молитву и время от времени повторял "аминь".

— И я тож политический,— сказал он.— То ись, значит, разоблаченный ре-ак-цио-нер,— последнее слово он произнес неуверенно и по слогам, но четко и правильно.— Бают,

что всех реакционеров сошлют годов на десять. А вы как думаете, ваше благородие, меня тож сошлют?

Он кивнул и беспокойно покосился на охранников, которые собрались небольшой группкой в центре двора, пританцовывали на снегу, чтобы не окоченели ноги, и не обращали на заключенных никакого внимания.

— А что вы сделали?— спросил Рубашов.

— Меня разоблачили, что я, дескать, реакционер, когда у нас на деревне стали колоть иглами ребятню,— сказал крестьянин.— К нам кажинный год посылают разные там комиссии. В запрошлом годе нам прислали грамоты разные, чтоб мы их, значит, читали, и много-много ихних патретов. А на прошлый год прислали молотилку и щеточки такие махонькие для зубов. А в нонешнем году привезли такие трубочки из стекла, да иголки, чтоб колоть малолеток. Приехала баба в портках, будто у мужика, и хотела всех колоть, одного за одним. А когда она пришла к нам на двор, мы с моей бабой да с пацанами замкнулись в избе и, значит, разоблачились как реакционеры. А опосля мы пожгли все ихние грамоты да патреты, а молотилку поломали, а через месяц пришли и нас забрали.

Рубашов пробормотал что-то невнятное. Он снова стал обдумывать свое эссе о самоуправлении. Ему вдруг вспомнилось, что он читал когда-то об аборигенах Новой Гвинеи, которые находились на том же уровне культурного развития, что и этот крестьянин, однако у них царила полнейшая социальная гармония и были поразительно развитые демократические учреждения. Они достигли наивысшего уровня в нижнем шлюзе.

Крестьянин, шедший рядом с Рубашовым, воспринял его молчание как неодобрение и еще больше ушел в себя. Пальцы у него на ногах посинели, время от времени он тяжело вздыхал. Смирившись со своей судьбой, он молча трусил по заснеженному двору.

Вернувшись назад в камеру, Рубашов тотчас же снова принялся писать. Ему казалось, что, сформулировав "за-

кон относительной политической зрелости народов", он сделал настоящее открытие. Как раз к тому времени, когда принесли обед, он кончил писать. Съев свою порцию, Рубашов удовлетворенно прилег отдохнуть.

Спал он около часа. На сей раз сон его был спокоен и глубок, и проснулся он свежим и отдохнувшим. № 402 уже некоторое время нетерпеливо стучал в стену, он явно чувствовал себя забытым. Как только Рубашов отозвался, № 402 стал его расспрашивать, что за птица его новый напарник на прогулке (№ 402 наблюдал за ними из окна). Но Рубашов прервал его. Внутренне усмехаясь, он простучал оправой пенсне:

— Я КАПИТУЛИРУЮ.

Он с любопытством ждал ответа.

Ответа долго не было, № 402 молчал. Наконец, спустя добрую минуту или больше, раздался стук:

— Я БЫ ЛУЧШЕ УДАВИЛСЯ.

Рубашов, улыбаясь, отстучал:

— КАЖДОМУ СВОЕ.

Он ожидал гневного взрыва, но, к его удивлению, № 402 ответил приглушенным стуком, как будто был не совсем уверен в своей правоте:

— Я УЖЕ СЧИТАЛ ВАС ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ПРАВИЛА. ОСТАЛАСЬ ЛИ В ВАС ХОТЬ КАПЛЯ ЧЕСТИ?

Рубашов лежал на спине, держа пенсне в руке. Он ощущал удовлетворение и покой.

— У НАС РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЧЕСТИ,— отстучал он.

№ 402 ответил быстро и по-военному четко:

— ЧЕСТЬ — ЭТО ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ ТОГО, ВО ЧТО ВЕРИШЬ.

Рубашов так же быстро возразил:

— ЧЕСТЬ — ЭТО ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ И ЗАБЫТЬ О ТЩЕСЛАВИИ.

На этот раз стук соседа был громче и резче:

— ЧЕСТЬ — ЭТО ВОПРОС НЕ ПОЛЬЗЫ, А ДОСТОИНСТВА.

— ЧТО ТАКОЕ ДОСТОИНСТВО?— спросил Рубашов, спокойно выстукивая букву за буквой.

Но чем спокойнее он стучал, тем яростнее становился ответный стук:

—ТО, ЧТО ТАКИМ, КАК ВЫ, ВОВЕК НЕ ПОНЯТЬ.

Рубашов пожал плечами и отстучал:

— МЫ ЗАМЕНИЛИ ДОСТОИНСТВО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ.

Но № 402 прекратил разговор и больше не отзывался.

Перед ужином Рубашов перечитал то, что он написал. Он внес одно или два уточнения и сделал копию в виде письма, адресованного Народному Прокурору. Он подчеркнул последние абзацы, в которых говорилось о том, какой выбор есть у оппозиции, и закончил письмо следующими словами:

"Нижеподписавшийся Н.З.Рубашов, бывший член ЦК Партии, бывший Народный Комиссар, бывший Командующий 2-й дивизией Революционной Армии, награжденный за отвагу в борьбе с врагами Революции первым Революционным орденом, обдумал вышеизложенные соображения и принял решение полностью отказаться от своих оппозиционных взглядов и публично осудить свои заблуждения".

3

Два дня Рубашов ждал, что его вызовут к Иванову. Он думал, что это произойдет сразу же после того, как он вручил старику надзирателю документ, в котором сообщал о своей капитуляции. К тому же, отдал он этот документ именно в последний день назначенного Ивановым срока. Но, видимо, теперь никакой спешки уже не было. Может быть, Иванов изучал его "теорию относительной политической зрелости" или, что было еще вероятнее, документ уже переслали в компетентные высшие инстанции.

Рубашов улыбался при мысли о том, какое замешательство вызовет его рукопись среди "теоретиков" в ЦК. До Революции и какое-то время после нее, пока еще был

жив старый Вождь, не было деления на "теоретиков" и "практиков". Выбор тактики, наиболее подходящей в данный момент, производился в ходе открытой дискуссии, на основании Революционной теории. Стратегия ведения военных действий во время гражданской войны, реквизиции зерна, экспроприация и перераспределение земли, введение новой валютной системы, реорганизация фабрик и заводов — по сути дела, любое административное мероприятие было применением Революционной теории на практике. Каждый из тех, чьи пронумерованные головы на старой фотографии некогда украшали стенку в кабинете Иванова, гораздо лучше разбирался в юриспруденции, в философии, в политической экономии и в принципах управления государством, чем все научные светила на кафедрах европейских университетов. Политические дискуссии на партийных съездах во время гражданской войны велись на таком высоком теоретическом уровне, какого еще не знала история. Они, скорее, напоминали статьи в серьезных научных журналах — с той разницей, что выводы, сделанные из этих дискуссий, предопределяли судьбу и благополучие миллионов людей, предопределяли будущее развитие Революции.

Теперь от Старой Гвардии почти никого не осталось. Логика Истории привела к тому, что по мере стабилизации режима ему приходилось все более ограничивать свободу дискуссий и принимать все более крутые меры, чтобы буйные центробежные силы, пробужденные Революцией и искавшие выхода, не взорвали Революцию изнутри. Миновало время, когда делегаты съездов философствовали и спорили друг с другом; и вместо старой фотографии теперь на обоях в кабинете Иванова выделялось лишь светлое пятно; философский пыл уступил место полной интеллектуальной бесцветности. Революционная теория была законсервирована и превращена в догматический культ. Она была изложена в виде примитивного общедоступного катехизиса, а Первый стал верховным патриархом, служащим обедню. Уже в самом стиле его речей и статей ощущался дух катехизисной непогрешимости.

Они состояли из вопросов и ответов, из пунктов и подпунктов, и проблемы и факты в них были представлены упрощенными до примитивности. Несомненно, Первый превосходно ощущал, что такое "закон относительной политической зрелости народов", и знал, как этим законом пользоваться. Тираны-дилетанты заставляли своих подданных действовать по приказу. Первый научил их думать по приказу.

Рубашова забавляла мысль о том, что скажут по поводу его письма нынешние партийные горе-теоретики. Сейчас это письмо было страшнейшей политической ересью: в нем подвергались критике основоположники и создатели Революционной Доктрины — а ведь их идеи, словно окруженные незримым табу, были теперь объявлены вне критики. Рубашов назвал все вещи своими именами, и даже священная и неприкосновенная личность Первого рассматривалась у него объективно в ее историческом контексте. Они будут кусать локти от злости, эти доморощенные теоретики, которые только и умеют, что доказывать, будто все выбрыки, загибы и крутые повороты во взглядах Первого — это гениальные открытия и философские откровения.

Иногда Первый проделывал со своими теоретиками странные трюки. Однажды он потребовал, чтобы комиссия экспертов, издававшая партийный теоретический журнал по вопросам экономики, сделала анализ экономического кризиса в Соединенных Штатах Америки. На эту работу ушло несколько месяцев. Наконец появился специальный номер журнала, в котором — исходя из тезиса, сформулированного Первым на последнем партийном съезде,— на трехстах страницах доказывалось, что начавшийся в Америке промышленный подъем есть не что иное, как фикция, и что на самом деле Америка погрязла в глубокой экономической трясине, и вытащить ее из этого состояния способна только победоносная Пролетарская Революция. В этот же самый день, когда этот номер журнала вышел в свет, Первый дал интервью американскому корреспонденту и ошеломил и его, и весь мир,

выдав между двумя затяжками своей знаменитой трубки следующую многозначительную сентенцию:

— Соединенные Штаты преодолели кризис, и американская экономика снова функционирует нормально.

В ту же ночь члены комиссии, ожидая увольнения, а может быть, и ареста, написали в ЦК письма, в которых они признавались, что допустили "грубейшие политические ошибки, в основе которых лежали контрреволюционные концепции и идейно-порочные методы анализа". Члены комиссии били себя в грудь, клялись, что полностью раскаялись, и обещали публично осудить свои заблуждения. Один только Исакович, ровесник Рубашова и единственный из сотрудников журнала, кто еще принадлежал к Старой Гвардии, не написал покаянного письма, а предпочел пустить себе пулю в лоб. Впоследствии некоторые "посвященные" уверяли, что Первый и вообще-то затеял всю эту историю только для того, чтобы расправиться с Исаковичем, которого он подозревал в оппозиционных настроениях.

"Ну, ни дать ни взять, какой-то гротескный фарс гиньоль",— думал Рубашов. По сути дела, все это жонглирование "Революционной Философией" было только способом укрепления диктатуры, которая, будучи в принципе явлением глубоко отрицательным, в данный конкретный исторический момент, вроде бы, сделалась политической необходимостью. Что ж, тем хуже для людей, которые принимали весь этот фарс всерьез и видели лишь то, что происходит на сцене, не понимая, как делаются дела за кулисами. Некогда революционная политика обсуждалась на партийных съездах, теперь же решения принимались в кулуарах. И это тоже было закономерным выводом из закона об "относительной политической зрелости народов".

Рубашов жаждал снова оказаться в тихой библиотеке, где на столах стоят лампы под зелеными абажурами, и начать разрабатывать свою теорию на основе исторических фактов. Наиболее продуктивными периодами в создании революционных философских теорий всегда

были годы эмиграции — вынужденные каникулы в активной политической работе. Сейчас, расхаживая взад и вперед по камере, Рубашов позволял своей фантазии тешить себя надеждой на то, что следующие года два, после того, как его отлучат от политической деятельности, он проведет в своего рода внутренней эмиграции. Своим публичным отречением он купит себе необходимую передышку.

Внешняя форма капитуляции большого значения для Рубашова не имела. Он выдаст им столько необходимых mea culpa, столько раз поклянется им в том, что он верит в непогрешимость Первого, сколько бумага стерпит. Это был только вопрос этикета: византийский церемониал, который пришлось разработать ввиду необходимости прочно вбивать каждый лозунг в сознание масс, предельно упрощая его и повторяя несчетное количество раз. То, что объявлялось правильным, должно было засиять как золото; то, что объявлялось ложным, должно было стать черным как сажа; политические высказывания следовало раскрашивать, как имбирные пряники на ярмарке.

Что понимал во всем этом № 402? Его узколобое представление о чести давно устарело. Что такое достоинство? Определенная условность, пережиток устарелых традиций эпохи рыцарских турниров. Следовало сформулировать новое понятие чести. Честь — это беззаветное служение своему делу, служение, при котором нет места личному мелкому тщеславию, служение до последней черты.

"Лучше умереть, чем потерять честь!"— провозгласил № 402. Можно себе представить, как он при этом закручивал свои усики — классический способ выражения собственного тщеславия. № 402 выстукивал свои лозунги на стене моноклем, а Рубашов — оправой пенсне, в этом вся разница. Единственное, что сейчас для Рубашова имело значение,— это возможность спокойно работать в библиотеке и создавать свою новую теорию. На это уйдет не один год, и в результате получится толстый том, но зато он, Рубашов, найдет первый действенный ключ к пониманию ис-

тории демократических институтов и к разъяснению "маятниковых" колебаний в психологии народных масс — колебаний, которые всем очевидны, но которых не смогла объяснить классическая теория классовой борьбы.

Рубашов быстрыми шагами заходил по камере, улыбаясь про себя. Пока он мог развивать и обдумывать свою теорию, все остальное не имело значения. Зубная боль прошла; Рубашов чувствовал в себе заряд бодрости, энергии и творческого нетерпения. Два дня прошло с тех пор, как он беседовал ночью с Ивановым, а после того он отослал свое заявление, и все еще — никаких результатов! Время, которое в первые две недели после его ареста мчалось галопом, теперь ползло как черепаха. Часы разлагались на минуты и секунды. Время от времени Рубашов брался за работу, но каждый раз вскоре бросал карандаш, потому что у него не было под рукой исторических документов. Он подолгу стоял у глазка, надеясь, что наконец появится надзиратель и отведет его к Иванову. Но коридор был пуст. Как всегда, тусклым, желтым светом горели электрические лампочки.

Порой в нем просыпалась надежда, что Иванов придет к нему сам и что все формальности, связанные с его заявлением, будут окончены прямо здесь, в камере. Это было бы гораздо приятнее. И уж тогда он даже не стал бы возражать против того, чтобы хлебнуть коньяку. Рубашов представлял себе этот разговор во всех подробностях: как они вдвоем с Ивановым будут трудиться над вычурной фразеологией "признания" и как Иванов будет сопровождать эту работу своими циничными остротами. Рубашов, улыбаясь, ходил взад и вперед по камере и каждые десять минут поглядывал на часы. Разве Иванов не обещал ему тогда ночью, что придет к нему на следующий день?

Лихорадочное нетерпение Рубашова росло с каждой минутой. На третью ночь после беседы с Ивановым он не мог уснуть. Он лежал в темноте на койке, прислушиваясь к слабым, приглушенным звукам, наполнявшим здание, ворочался с боку на бок и впервые со дня своего ареста

тосковал по теплому женскому телу. Он попробовал дышать равномерно, чтобы поскорее уснуть, но только все больше и больше нервничал. Он долго боролся с желанием завязать разговор с № 402, который после вопроса "что такое достоинство?" больше не давал о себе знать.

Так Рубашов пролежал без сна часа три, не сводя взгляда с клочка газеты, которым было заклеено треснувшее окно; около полуночи, не в силах дальше выносить бессонницы, он постучал костяшками пальцев в стену. Он напряженно ждал, но стена не подавала никаких признаков жизни. Он постучал еще раз и затих в ожидании ответа, и при этом чувствовал, что его заливает жаркая волна унижения. № 402 не отвечал. А ведь он тоже лежал без сна по другую сторону стены, убивая время тем, что снова и снова переживал свои былые любовные приключения. Как-то он признался Рубашову, что он никогда не засыпает раньше часу или двух пополуночи и что он вернулся к привычкам своих мальчишеских лет.

Рубашов лежал на спине, глядя в темноту. Матрац под ним стал жестким, ему было жарко под теплым одеялом, которое к тому же впитало неприятные испарения его кожи; но, когда он скинул одеяло, его пронизал озноб. Он курил сигарету за сигаретой. Сейчас это была уже седьмая или восьмая. Окурки валялись на каменном полу у кровати. Теперь замерли даже самые слабые звуки, время остановилось, оно растворилось в бесформенном мраке. Рубашов закрыл глаза и представил себе, что рядом с ним лежит Орлова. Он вспоминал, как выглядят знакомые белые очертания ее торчащих в темноте грудей. Он забыл, что ведь и ее протащили, как Багрова, по каменным плитам коридора. Тишина давила с такой силой, что, казалось, она гудит и плывет. Что делали две тысячи человек, замурованных в соты этого улья? Тишина вспучилась, разбухла от их неслышного дыхания, их невидимых сновидений, их задушенных вздохов, в которых смешались страхи и желания. Если Историю действительно можно точно рассчитать, как математическую задачу, то сколько весят ночные кошмары двух тысяч человек, и что будет,

если все эти кошмары сложить вместе? Чему равняется двухтысячекратное давление несбыточных надежд? Рубашов вдруг реально почувствовал домашний, сестринский запах Орловой; тело его под шерстяным одеялом покрылось липким потом...

Дверь в камеру со скрежетом распахнулась, и Рубашова ослепил свет из коридора.

В камеру вошли двое охранников в форме, с револьверами на портупеях. Обоих Рубашов видел впервые. Один из них подошел к койке, это был высоченного роста детина со скотоподобным выражением лица. Сиплым голосом, показавшимся Рубашову излишне громким, он приказал заключенному встать и следовать за ним — не объясняя, куда именно.

Рубашов пошарил под одеялом и нашел свое пенсне, надел его и встал с койки. Идя по коридору на шаг позади рослого детины, он чувствовал, что ноги у него словно свинцом налились от усталости. Второй сотрудник замыкал шествие.

Рубашов взглянул на часы. Было два часа ночи. А, значит, он все-таки уснул и сколько-то времени поспал. Они шли по направлению к парикмахерской — тем же путем, которым Рубашова уже однажды вели. Второй охранник все время держался шагах в трех позади Рубашова. Рубашову вдруг безумно захотелось повернуть голову, он чувствовал отчаянный зуд в затылке, но он пересилил себя. "В конце концов, не могут же они прикончить меня просто так,— думал он,— выстрелить мне в затылок без всяких формальностей, не разобравшись окончательно в моем деле!" Сейчас это не имело для него очень уж большого значения, ему хотелось только поскорее со всем этим покончить, поскорее через все это пройти. Он попытался понять, испытывает он страх или нет, но единственное ощущение, которое он в себе обнаружил,— это было ощущение физического неудобства, из-за усилий, которые он делал, чтобы не повернуть головы к шедшему позади конвоиру.

Когда они прошли мимо парикмахерской и завернули

за угол, он увидел узкие ступеньки, ведшие в подвал. Рубашов искоса наблюдал за шедшим впереди него детиной: не замедлит ли он шаги. Страха Рубашов по-прежнему не ощущал — одно только любопытство и физическую неловкость, но, когда они миновали лестницу, он, к своему изумлению, почувствовал, что у него подкашиваются ноги, и с трудом заставил себя держаться прямо. И одновременно поймал себя на том, что механически протирает пенсне рукавом; видимо, он сам не заметил, как снял пенсне, когда они прошли мимо парикмахерской. "Все это самообман!— подумал он.— Там, наверху, ты можешь сколько угодно обманывать самого себя, но здесь, внизу, когда у тебя внутри все перевертывается, ты знаешь правду. Если сейчас они примутся меня бить, я подпишу все что угодно, но завтра же я от этого отрекусь...".

Они сделали еще несколько шагов, и Рубашов вспомнил свою теорию "относительной политической зрелости народов", вспомнил, что он уже решил покориться и подписать свою капитуляцию. Он облегченно вздохнул. В то же время он с изумлением спросил самого себя, как это у него из головы совершенно вылетело решение, которое он сам позавчера принял? Рослый конвоир остановился, открыл дверь и стал чуть сбоку. Рубашов увидел кабинет, похожий на кабинет Иванова, но глаза резал неприятно яркий свет. За столом, напротив двери, сидел Глеткин.

Дверь позади Рубашова захлопнулась, и Глеткин поднял голову от кипы бумаг.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал он сухим, бесцветным голосом, который Рубашов помнил еще по их первому знакомству, состоявшемуся у него в камере. Он вспомнил и широкий шрам на голой голове Глеткина. Все освещение кабинета составлял высокий торшер на металлической ножке, стоявший позади кресла, и поэтому лицо Глеткина оставалось в тени. Резкий, яркий свет слепил Рубашову глаза, так что лишь через несколько секунд, когда он чуть привык к этому свету, Рубашов увидел, что Глеткин в комнате не один: поодаль, за ширмой, у маленького столика сидела спиной к двери секретарша.

Рубашов сел напротив Глеткина на единственный стул, стоявший по другую сторону стола. Стул был неудобный, без ручек.

— Мне поручено вести ваше дело на время отсутствия комиссара Иванова,— сказал Глеткин.

Свет лампы резал Рубашову глаза, но, когда он поворачивался к Глеткину боком, свет все равно резал угол его глаза, и это было ничуть не лучше. А кроме того, разговаривать, отвернувшись, было бессмысленно и неловко.

— Я предпочел бы, чтобы меня продолжал допрашивать комиссар Иванов,— сказал Рубашов.

— Следователь назначается вышестоящими инстанциями,"— сказал Глеткин.— Вы имеете право сделать заявление или же отказаться его делать. В вашем случае отказ будет равносилен тому, что вы дезавуируете вашу декларацию о добровольном признании, которую вы написали два дня тому назад. Тогда дело будет немедленно прекращено, и у меня есть указания переслать вашу документацию в компетентные органы, которые вынесут вам приговор в административном порядке.

Рубашов быстро обдумал положение. С Ивановым явно что-то стряслось. Его неожиданно отправили в отпуск, или уволили, или посадили. Может быть, вспомнили о его прежней дружбе с Рубашовым, а может быть, он просто был для них слишком умен и слишком остер на язык, или же дело было в том, что в основе его верности Первому лежала не слепая вера, а трезвый расчет. Иванов был слишком умен. Он принадлежал к старой школе. Новая школа — это Глеткин и его методы... Ну, что ж, Иванов, уходи с миром! У Рубашова не было к нему жалости. Думать надо было быстро, а ему мешал свет. Он снял пенсне и несколько раз моргнул. Он знал, что без пенсне он выглядит голым и беззащитным и что лишенные всякого выражения глаза Глеткина отмечают каждую черточку у него на лице. Если он сейчас промолчит, все будет кончено, пути назад у него не останется. Глеткин, конечно,— отвратительный субъект, но он олицетворяет молодое поколение. Старикам надо как-то договориться с этим поколением или их раздавят, другого выхода нет. Рубашов внезапно почувствовал, что он уже старик, такое было впервые. Он никогда не задумывался над тем, что ему уже далеко за пятьдесят. Он надел пенсне и попытался посмотреть Глеткину в глаза, но прямо в него бил свет, глаза у Рубашова начали слезиться,

— Я готов сделать заявление,— сказал он, пытаясь сдержать свое раздражение.— Но при условии, что вы прекратите свои фокусы. Уберите этот режущий свет и оставьте свои методы для уголовников и контрреволюционеров.

— Вы сейчас не в том положении, чтобы ставить условия,— сказал Глеткин спокойным голосом.— А я не могу менять освещение в своем кабинете только потому, что оно не нравится вам. Вы, видимо, не совсем четко представляете себе свое положение — в особенности тот факт, что вы сами обвинили себя в контрреволюционной деятельности и что в течение двух последних лет вы дважды открыто признавались в этом широкой общественности. Если вы полагаете, что и в третий раз вам удастся отделаться так же легко, то вы заблуждаетесь.

"Ах ты свинья!— подумал Рубашов.— Грязная свинья в мундире!" Лицо Рубашова побагровело. Он почувствовал это, и он знал, что Глеткин тоже это заметил. Сколько Глеткину может быть лет? Тридцать шесть, самое большее — тридцать семь. В гражданской войне он участвовал еще совсем зеленым юнцом, а во время Революции и вообще пешком под стол ходил. Такие люди, как Глеткин, начали мыслить уже после потопа. У них не было никаких традиций, и никакие воспоминания не связывали их с исчезнувшим миром. Это поколение родилось без пуповины... И тем не менее, на стороне этого поколения была правда. Ибо нужно разорвать пуповину, нужно отрезать последнюю нить, связывающую тебя с суетным понятием чести и с лицемерным кодексом приличий Старого Мира. Честь — это беззаветное служение своему делу, служение, при котором нет места личному мелкому тщеславию, служение до последней черты.

Постепенно раздражение Рубашова улеглось. Держа

пенсне в руке, он повернулся к Глеткину. Из-за того что ему приходилось держать глаза закрытыми, он чувствовал себя еще более обнаженным, но теперь это уже не мешало ему. Сквозь закрытые веки просачивался красноватый свет. Еще никогда в жизни Рубашов не чувствовал себя таким одиноким.

— Я сделаю все, что может принести пользу Партии,— сказал он.

Голос его теперь звучал нормально, хрипота исчезла, но глаза он по-прежнему держал закрытыми.

— Я прошу вас,— продолжал Рубашов,— сообщить мне, в чем конкретно состоит выдвинутое против меня обвинение. Это до сих пор еще не было сделано.

Он скорее услышал, чем увидел сквозь прикрытые веки, как встрепенулось неподвижное тело Глеткина. Хрустнули манжеты, лежавшие на ручках кресла. Глеткин издал глубокий вздох, как бы на секунду расслабившись. Рубашов понял, что эта минута была для Глеткина триумфом всей его жизни. Расколоть Рубашова — значит, сделать шаг к блестящей карьере, а до того чаша весов все еще колебалась, и перед глазами Глеткина как предостережение стояла судьба Иванова.

И внезапно Рубашов понял, что Глеткин так же зависит от него, как он — от Глеткина. "Я тебя держу за горло, дружок ,— подумал он с иронической гримасой.— Мы оба держим друг друга за глотку, и, если я брошусь вниз, с маятника, я и тебя потащу за собой". Какое-то мгновение Рубашова эта мысль забавляла, пока Глеткин, снова застывший и, как всегда, педантичный, рылся в его документах. Затем Рубашов подавил в себе это чувство и медленно закрыл глаза, в которых началась резь от яркого, бьющего в лицо света. "Ты должен сжечь последние остатки тщеславия,— сказал он себе,— а что такое самоубийство, как не вывернутое наизнанку тщеславие? Разумеется, этот идиот Глеткин считает, что расколоть Рубашова помогли как раз эти его дешевые трюки, а не ивановские доводы. Может быть, Глеткин даже высшее начальство убедил в том, что именно он заставил Рубашова во всем

признаться, и этим Глеткин способствовал падению Иванова".

"Свинья!— снова подумал Рубашов, но на сей раз беззлобно.— Животное, обряженное в мундир, мы сами же тебя и создали — тебя, варвара нового, наступающего века, а ты и понятия не имеешь, что это будет за век, но если бы ты это понял, ты стал бы для нас бесполезен...". Рубашов заметил, что свет лампы стал еще чуть ярче. Он знал, что существует специальное приспособление для того, чтобы усиливать и ослаблять свет на время допроса. Ему пришлось отвернуться от стола и вытереть слезящиеся глаза. "Ах ты, скотина!— подумал он.— Однако сейчас нам нужно именно поколение скотов...".

Глеткин принялся читать обвинительный акт. Его монотонный голос раздражал Рубашова еще сильнее, чем обычно. Рубашов слушал, отвернувшись от Глеткина и закрыв глаза. Он решил рассматривать свое "признание" как пустую формальность, как идиотский, но необходимый фарс, подспудный смысл которого могли постичь только посвященные, но абсурдность текста, который читал Глеткин, превосходила все его ожидания. Неужели Глеткин действительно верит, что он, Рубашов, готовил эти детские заговоры? Что он, Рубашов, много лет ни о чем другом не думал, как о том, чтобы разрушить здание, фундамент которого он сам вместе со Старой Гвардией закладывал? И все они, все эти люди с пронумерованными головами — герои детства Глеткина,— неужели Глеткин действительно верит, что все они стали жертвами какой-то мистической эпидемии, которая сделала их продажными двурушниками и внушила им лишь одно желание — погубить Революцию? И к тому же погубить ее такими методами, которые эти великие политические стратеги как будто позаимствовали из дешевых бульварных детективов?

Глеткин читал монотонно, без всякого выражения, бесцветным, скучным голосом, как читают люди, выучившиеся грамоте уже взрослыми. Сейчас он начал читать о гипотетических переговорах с представителем иностранной

державы, которые Рубашов, как утверждалось в обвинительном заключении, начал вести во время своего пребывания за границей на посту начальника торгпредства и целью которых была насильственная реставрация прежнего, дореволюционного режима. Было названо имя иностранного дипломата, а также время и место их встречи. Рубашов стал слушать с большим вниманием. У него в памяти всплыла незначительная сцена, которую он тогда сразу же забыл и о которой никогда с тех пор не вспоминал. Он постарался вспомнить, когда это могло быть. Похоже, дату они назвали правильно. Значит, вот на какой веревке его собираются повесить! Рубашов улыбнулся и вытер слезящиеся глаза носовым платком…

Глеткин продолжал читать, не двигаясь и с той же мертвящей монотонностью. "Верит ли он в то, что читает?— спрашивал себя Рубашов.— Неужели он не понимает, что все эти обвинения — дикая нелепость?" Сейчас Глеткин дошел до того времени, когда Рубашов возглавлял алюминиевый трест. Глеткин называл цифры, которые свидетельствовали об ужасающей неорганизованности в этой слишком поспешно созданной отрасли промышленности; число рабочих, получивших производственные травмы; количество самолетов, разбившихся из-за плохого качества металла. И все это было следствием его, Рубашова, дьявольского саботажа. Слово "дьявольский" действительно несколько раз встречалось в тексте, между техническими терминами и колонками цифр. Несколько секунд Рубашов всерьез обдумывал, не сошел ли Глеткин с ума: эта мешанина логики и нелепостей напоминала методическую шизофреническую манию.

Но ведь обвинительное заключение придумал не Глеткин, он его только читал — и либо действительно в него верил, либо, по крайней мере, считал его достаточно правдоподобным. ..

Рубашов обернулся и посмотрел в плохо освещенный угол, где сидела стенографистка. Это была маленькая, худенькая женщина с мышиной мордочкой, в очках. Она равнодушно затачивала карандаш и даже не подняла головы, чтобы взглянуть на Рубашова. Видимо, и для нее весь тот бред, который читал Глеткин, звучал вполне убедительно. Ей было лет двадцать пять—двадцать шесть. Она тоже выросла после потопа. Что значило имя Рубашова для этого поколения современных неандертальцев? Вот он сидел напротив слепящего света лампы, не мог открыть слезящиеся глаза, а бесцветный, бесстрастный голос читал ему обвинительное заключение, на него смотрели пустые, бесцветные глаза, смотрели без всякого интереса, словно он — морская свинка, которую режут скальпелем на операционном столе.

Глеткин дошел до последнего пункта обвинительного заключения, который достойно увенчивал все это затейливое сооружение: в нем говорилось о заговоре с целью покушения на жизнь Первого. Снова появился таинственный "икс", о котором упоминал на первом допросе Иванов. Выяснилось, что этот "икс" был помощником метрдотеля ресторана, из которого Первому приносили обед в те дни, когда он бывал особенно занят. Этот перекус всухомятку был одной из характерных черт спартанского образа жизни Первого, и пропаганда очень любила о нем распространяться. И вот эту общеизвестную привычку Первого, уже вошедшую в поговорку, "икс" по наущению Рубашова, должен был использовать для того, чтобы уготовить Первому преждевременную кончину. Рубашов, продолжая сидеть с закрытыми глазами, внутренне усмехнулся. Открыв глаза, он увидел, что Глеткин умолк и глядит на него. Через несколько секунд Глеткин произнес своим обычным ровным тоном:

— Вы слышали обвинительное заключение и признаете себя виновным.

Это была скорее констатация факта, нежели вопрос.

Рубашов попытался взглянуть Глеткину прямо в лицо, но не смог и снова закрыл глаза. С языка у него уже готов был сорваться едкий ответ, но вместо этого он сказал — причем сказал так тихо, что тощей секретарше пришлось вытянуть шею, чтобы расслышать:

— Я признаю себя виновным в том, что я не понял ро-

ковой исторической необходимости, лежащей в основе политики Правительства, и потому придерживался оппозиционных взглядов. Я признаю себя виновным в том, что действовал под влиянием своих личных эмоций и потому вступил в противоречие с исторической необходимостью. Я склонил свой слух к жалобам жертв и вследствие этого стал глух к доводам, которые доказывали справедливость принесения этих людей в жертву. Я признаю себя виновным в том, что вопрос субъективной вины или невиновности был для меня важнее вопроса объективной полезности или вредности. И, наконец, я признаю себя виновным в том, что человека я ставил выше человечества.

Рубашов замолчал и снова попытался открыть глаза. Отвернувшись от света, он покосился на угол, где сидела секретарша. Она только что кончила записывать его слова. Она сидела к нему в профиль, и Рубашову показалось, что в линии ее рта он уловил ироническую усмешку.

— Я знаю,— продолжал он,— что, если бы эти заблуждения вылились в действия, эти действия могли бы стать смертельной угрозой для Революции. В решающие, поворотные моменты Истории любая оппозиция несет в себе зародыш возможности раскола Партии и, следовательно, зародыш гражданской войны. В эпоху, когда массы еще не достигли достаточной степени политической зрелости, абстрактный гуманизм и либеральный объективизм самоубийственны для Революции. А в основе моих оппозиционных настроений лежали стремления, крайне привлекательные внешне и смертельно опасные по своей сути,— стремления к либеральным реформам диктатуры пролетариата, к более широкой демократии, к прекращению террора, направленного против врагов народа, и к ослаблению жесткой организационной структуры Партии. Я признаю, что в данный исторический момент эти стремления объективно вредны и, следовательно, контрреволюционны по своему характеру...

Рубашов снова замолк. В горле у него пересохло, в голосе появилась хриплость. В наступившей тишине он

слышал, как скребет по бумаге карандаш секретарши. Не открывая глаз, он чуть поднял голову и продолжал:

— В этом и только в этом смысле вы можете назвать меня контрреволюционером. А всю эту нелепую уголовщину, о которой говорится в обвинительном заключении, я решительно отметаю.

— Вы кончили?— спросил Глеткин.

В голосе его прозвучали такие жестокие нотки, что Рубашов изумленно взглянул на него. Ярко освещенный силуэт Глеткина, сидевшего за столом в обычной официальной позе, четко вырисовывался в свете лампы. Рубашов долго искал подходящую лаконичную характеристику для Глеткина и наконец нашел: "официально жестокий".

— В вашем заявлении нет ничего нового,— сказал Глеткин своим сухим, скрипучим голосом.— В обоих ваших предыдущих признаниях, сделанных — первое два года назад, второе год тому назад,— вы уже публично признались в том, что ваши намерения были "объективно контрреволюционными", что они "противоречили интересам народа". Оба раза вы униженно просили Партию о прощении и клялись в своей преданности политике Партии. Теперь вы рассчитываете разыграть то же самое в третий раз. Заявление, которое вы сейчас сделали,— это только для отвода глаз. Вы признаетесь в своих "контрреволюционных настроениях", но отрицаете, что совершали действия, которые являются логическим следствием ваших настроений. Я уже говорил вам, что на сей раз вам не удастся отделаться так легко.

Глеткин оборвал свою речь так же резко, как начал ее. И в наступившей тишине Рубашов услышал слабое жужжание тока в лампе позади стола. Свет лампы снова усилился.

— Заявления, с которыми я выступал раньше,— тихо сказал Рубашов,— делались из тактических соображений. Вы, разумеется, знаете, что целый ряд политических деятелей, находившихся в оппозиции, вынужден был высту-

пить с такого рода заявлениями: это была цена за право оставаться в Партии. На этот раз все по-иному...

— Вы хотите сказать, что сейчас вы говорите искренне?— спросил Глеткин.

Он задал этот вопрос поспешно, и в его корректном официальном тоне не было и тени иронии.

— Да,— негромко сказал Рубашов.

— А раньше вы лгали?

— Считайте, что так,— сказал Рубашов.

— Чтобы спасти свою шкуру?

— Чтобы иметь возможность продолжать работать.

— Без шкуры работать нельзя. Следовательно, все-таки, чтобы спасти свою шкуру?

— Считайте, что так.

В короткие промежутки между вопросами, которыми выстреливал в него Глеткин, и собственными ответами Рубашов слышал только царапание карандаша секретарши и жужжание тока в лампе. Лампа слепила Рубашова каскадами яркого белого света и излучала ровное тепло, так что Рубашову приходилось постоянно вытирать пот со лба. Глаза его пронизывала острая боль. Он пытался держать их раскрытыми, но открывал их все реже и реже. Его все больше клонило ко сну; и, когда, задав очередную серию быстрых вопросов, Глеткин на несколько секунд умолк, Рубашов почувствовал, что подбородок утыкается ему в грудь и Глеткин отодвигается от него куда-то далеко-далеко. Когда он услышал следующий вопрос Глеткина, ему показалось, что он очень долго спал.

— Повторяю,— раздался голос Глеткина.— Выступая со своими предыдущими заявлениями, вы ставили своей целью обмануть Партию, скрыть ваши подлинные настроения и спасти свою шкуру.

— Я уже это признал,— сказал Рубашов.

— А когда вы публично отмежевались от своего бывшего секретаря Орловой, вы ставили перед собой ту же цель?

Рубашов кивнул. Резь в глазах отдавала во всю правую половину лица. Зуб снова начало дергать.

— Известно ли вам, что гражданка Орлова постоянно требовала, чтобы вы выступили на суде в качестве основного свидетеля в ее защиту?

— Мне об этом сообщили,— сказал Рубашов.

Боль в зубе становилась все сильнее.

— Кроме того, вам, несомненно, было известно, что заявление, которое вы тогда сделали и которое сейчас охарактеризовали как лживое, явилось решающим обстоятельством, побудившим суд приговорить гражданку Орлову к высшей мере социальной защиты.

— Мне сообщили об этом.

У Рубашова было впечатление, что вся правая половина его лица зажата в тиски. Голова отяжелела, словно налилась свинцом, и казалось, она вот-вот продавит ему грудь. Голос Глеткина сверлил ему ухо:

— Следовательно, не исключено, что гражданка Орлова была невиновна.

— Не исключено,— сказал Рубашов, вложив в это слово последние остатки иронии, от которых у него на языке был привкус крови и желчи.

— Следовательно, ликвидация гражданки Орловой была следствием вашего лживого заявления — заявления, которое вы сделали, чтобы спасти свою шкуру.

— Что-то в этом духе,— сказал Рубашов.

"Подлец!— подумал он в бессильной ярости.— Разумеется, все, что ты говоришь,— это святая правда. Интересно, кто из нас двоих подлее? Но ты держишь меня за глотку, а защищаться мне нечем, потому что броситься вниз с маятника я не имею права. Хоть бы ты дал мне чуть-чуть поспать! Но если ты будешь продолжать эту пытку, я возьму все свои слова обратно, откажусь говорить — и тогда мне крышка, но и тебе тоже".

— И после всего этого вы требуете, чтобы с вами обращались по-человечески?— продолжал доноситься до Рубашова голос Глеткина, в котором была все та же жесткая официальность.— Вы все еще осмеливаетесь отрицать

свою преступную деятельность? После всего этого вы требуете, чтобы мы вам поверили?

Рубашов отказался от попыток удержать голову на весу. Конечно, Глеткин ему ни на грош не верит — и правильно делает. Рубашов и сам уже запутался в лабиринте своей рассчитанной лжи и диалектического притворства, он заблудился в сумерках между истиной и иллюзией. Как ему убедить Глеткина, что теперь-то он действительно искренен, что он дошел до последней черты? Всегда нужно кого-то в чем-то убеждать, говорить, спорить, доказывать — а хочется только одного: уснуть и забыться...

— Я ничего не требую,— сказал Рубашов и, превозмогая боль, повернул голову в направлении, откуда доносился голос Глеткина,— я лишь хочу еще раз доказать свою преданность Партии.

— У вас есть только одна возможность это доказать,— раздался голос Глеткина.— Признайтесь во всем. Раскройтесь перед Партией. Мы уже по горло сыты вашими "оппозиционными настроениями" и разными возвышенными мотивами. Нам нужно от вас теперь только одно: чтобы вы сделали чистосердечное публичное признание во всей вашей преступной деятельности, явившейся логическим следствием ваших оппозиционных настроений. У вас сейчас есть только один способ принести пользу Партии: вы можете стать предостерегающим примером и таким образом продемонстрировать массам, к каким пагубным последствиям неизбежно приводит деятельность, направленная против политики Партии.

Рубашов думал о том, как Первый у себя в кабинете обедает всухомятку. Воспаленный лицевой нерв продолжал пульсировать, но непрерывная боль прекратилась и мучила его тупыми, резкими толчками. Рубашов представил себе, как Первый обедает всухомятку, и мышцы у него на лице скривились в гримасу.

— Я не могу признаться в преступлениях, которых я не совершал,— сказал он резко.

— Конечно, — сказал Глеткин,— конечно, этого вы сделать не можете.

Рубашову показалось, что впервые он уловил в голосе Глеткина что-то вроде иронии.

Начиная с этого момента Рубашов очень смутно помнил, что происходило. После глеткинской фразы "этого вы сделать не можете" — фразы, которая поразила Рубашова какой-то особенной интонацией и потому запомнилась,— у него в памяти образовался какой-то провал, и он не знал, сколько времени это продолжалось. Позднее Рубашову показалось, что он уснул, и он даже помнил, что увидел какой-то приятный сон. Может быть, этот сон длился всего каких-нибудь несколько секунд — бессвязное, вневременное чередование каких-то ярких пейзажей: знакомые тополя, окаймлявшие подъезд к отцовскому дому, и какое-то необыкновенное белое облако, которое он мальчишкой однажды видел на небе.

Следующее, что он помнил,— это то, что в кабинете Глеткина появился кто-то третий, а у него над ухом грохотал голос Глеткина, вставшего с кресла и перегнувшегося через стол:

— Я прошу вас следить за тем, что происходит вокруг вас. Вы узнаете этого человека?

Рубашов кивнул. Он сразу же узнал Заячью Губу, хотя тот сейчас не кутался в дождевик, как во время прогулки, В мозгу у Рубашова всплыл знакомый ряд цифр:2-2, 1-1, 6-2, 4-6, 5-5, 6-2, 1-4, 4-2, 1-2, 1-1... "ЗАЯЧЬЯ ГУБА ПЕРЕДАЕТ ТЕБЕ ПРИВЕТ...". Когда и почему № 402 простучал ему этот привет?

— При каких обстоятельствах вы с ним познакомились?

Рубашову пришлось приложить усилие, чтобы заставить себя говорить; на языке все еще был горький привкус.

— Я много раз видел его из окна, когда его выводили во двор на прогулку.

— А раньше вы не были с ним знакомы?

Заячья Губа стоял у двери, в нескольких шагах от Рубашова, и его хорошо освещало торшером. Лицо его, обычно желтое, теперь было белое как мел, нос резко

выступал вперед, отбрасывая тень на щеку, раздвоенная верхняя губа подрагивала над открытой десной, руки бессильно обвисли, и Рубашову, повернувшемуся теперь спиной к торшеру, этот человек казался призраком, вышедшим на авансцену в свете рампы. В памяти Рубашова всплыл новый ряд цифр: 1-3, 4-6, 1-6, 3-5, 1-1, 3-4, 5-4, 4-1, 1-1, 2-6, 2-3: "...ВЧЕРА ПЫТАЛИ".

— Точно не могу сказать,— неуверенно ответил Рубашов.— Теперь, когда я вижу его вблизи, мне кажется, что я где-то его встречал.

Еще не окончив этой фразы, Рубашов понял, что зря он ее произнес. Хорошо было бы, если бы Глеткин дал ему несколько минут — собраться с мыслями. Глеткинская манера обрушивать вопросы один за другим, без передышки, вызвала в воображении Рубашова образ хищной птицы, которая ринулась на падаль и яростно рвет ее клювом.

Секретарша перестала писать. В тишине раздавалось лишь жужжание тока да поскрипывание глеткинских манжет. Глеткин перегнулся вперед, уперся локтями в ручки кресла и выстрелил в Рубашова следующим вопросом:

— Значит, вы отказываетесь отвечать?

— Я не помню, — сказал Рубашов.

— Хорошо, — сказал Глеткин.

Он наклонился вперед, повернулся всем телом к Заячьей Губе:

— Освежите-ка память гражданина Рубашова. Где вы встречались с ним в последний раз?

Лицо Заячьей Губы стало еще белее, хотя это, казалось, было совершенно уже невозможно. Он задержал было взгляд на секретарше, которую он до того, как будто, и вовсе не заметил, но тут же отвел глаза, словно ища место, на чем им можно было спокойно остановиться. Облизав языком губы, он поспешно, одним дыханием, выдавил из себя:

— Гражданин Рубашов уговаривал меня отравить Вождя Партии.

Сначала Рубашов только изумился, услышав, что у

этого полутрупа оказался глубокий, звучный, мелодичный голос, так не вязавшийся со всем обликом Заячьей Губы. И прошло несколько секунд, пока Рубашов осознал смысл слов Заячьей Губы. С того момента, как этот человек появился в комнате, Рубашов почуял какую-то неведомую опасность. Однако теперь больше всего его поразила нелепость обвинения. Через секунду он снова услышал голос Глеткина — на этот раз голос раздавался у него за спиной, потому что Рубашов повернулся к Заячьей Губе. В голосе Глеткина звучало раздражение:

— Я вас не об этом спрашивал. Я спросил, где вы в последний раз встречались с гражданином Рубашовым.

"Промах! — подумал Рубашов. — Тебе не следовало бы подчеркивать, что он дал не тот ответ, какого тебе хотелось. Я бы сам этого не заметил". В голове у Рубашова, вроде бы, прояснилось. Он искал подходящее сравнение. Этот свидетель — просто шарманка, музыкальный ящик, и сейчас он сыграл не ту ноту. Следующий ответ Заячьей Губы прозвучал еще мелодичнее:

— Я встретился с гражданином Рубашовым за границей после приема в торгпредстве, которое он возглавлял. И там он уговаривал меня принять участие в своем террористическом покушении на жизнь Вождя Партии.

Пока он говорил, его глаза, напоминавшие глаза загнанного зверя, остановились на Рубашове и стали смотреть на него в упор. Рубашов надел пенсне и с острым любопытством ответил на взгляд Заячьей Губы. Однако в глазах Заячьей Губы не было мольбы о прощении, в них светились, скорее, участливое доверие и немой упрек беззащитного человечка, которого несправедливо мучают. И Рубашов первый отвел глаза.

За его спиной раздался голос Глеткина — вновь самоуверенный и жестокий:

— Вы помните точное число, когда произошла эта встреча?

— Я помню число совершенно точно. — Голос Заячьей Губы звучал как-то неестественно приятно. — Это было

после дипломатического приема, посвященного двадцатой годовщине Революции.

Он все еще глядел на Рубашова, как будто искал в нем какой-то последний отчаянный лучик надежды. И Рубашов — поначалу смутно, а потом гораздо отчетливее — вспомнил. Но это вызвало в нем одно лишь удивление. Он повернулся к Глеткину и спокойно сказал, мигая от яркого света:

— Он назвал число совершенно точно. Поначалу я его не узнал, потому что до того, как он попал к вам в руки, я его видел всего один раз в жизни. Это сын профессора Киффера. Вас можно поздравить, вы неплохо поработали.

— Следовательно, вы признаете, что вы с ним знакомы и что вы встретились с ним при вышеупомянутых обстоятельствах?

— Я же только что об этом сказал, — устало ответил Рубашов. — Если бы вы мне сразу напомнили, что он — сын моего несчастного друга Киффера, я бы узнал его раньше.

— В обвинительном заключении упомянуты его полное имя и фамилия, — сказал Глеткин.

— Как и все, я знал профессора Киффера только по его псевдониму.

— Это несущественная подробность, — сказал Глеткин.

Он снова всем телом перегнулся к Заячьей Губе, словно хотел сокрушить его своим весом.

— Продолжайте, — сказал он. — Расскажите, как прошла эта встреча.

"Снова промах! — подумал Рубашов. — Это очень существенная подробность. Если бы я действительно подбивал этого бедолагу на такое идиотское покушение, я бы вспомнил его сразу, знай я его по имени или нет". Но Рубашов слишком устал, чтобы пускаться в долгие объяснения; а кроме того, для этого ему пришлось бы опять повернуться к лампе, а сейчас он мог сидеть спиной к Глеткину.

Пока Рубашов и Глеткин препирались по поводу личности Заячьей Губы, тот стоял, опустив голову, и верхняя губа его подрагивала в белом свете лампы.

Рубашов вспомнил своего старого друга и товарища, профессора Киффера, выдающегося историка Революции. На знаменитой фотографии, сделанной во время партийного съезда, среди бородатых людей с пронумерованными головами, профессор Киффер сидел по левую руку от старого Вождя. Профессор Киффер консультировал старого Вождя по вопросам, связанным с историей, часто играл с ним в шахматы и вообще был, наверно, его единственным личным другом. После смерти "старика" Киффер, знавший его лучше, чем кто-либо другой, получил задание написать его биографию. Он работал над ней более десяти лет, но этой книге так и не суждено было увидеть свет. За эти десять лет официальная интерпретация событий, связанных с Революцией, совершенно изменилась, роль тех или иных вождей Революции была либо преувеличена донельзя, либо сведена на нет, и вся шкала ценностей в результате приобрела совершенно новый вид. Однако старый Киффер был упрям и ни черта не понимал во внутренней диалектике новой эры, когда первым человеком в государстве стал Первый...

— Мы с отцом, — продолжал Заячья Губа своим ненатурально мелодичным голосом, — на пути с Международного этнографического конгресса заехали в тот город, где возглавлял торгпредство гражданин Рубашов: он был старый друг моего отца, и отец хотел его навестить...

Рубашов слушал Заячью Губу со странным ощущением одновременно любопытства и скуки. Здесь все было верно. Профессор Киффер действительно заехал навестить Рубашова: он хотел излить ему душу и кое о чем посоветоваться. Они провели вместе целый вечер: наверно, это был последний счастливый вечер в жизни старины Киффера.

— Мы провели там только один день, — продолжал Заячья Губа, и взгляд его все время был прикован к лицу Рубашова, как будто он хотел почерпнуть у Рубашова

силу и ободрение. — Это была как раз годовщина Революции, потому-то я так точно запомнил число. Весь день гражданин Рубашов был занят в торгпредстве, и отец провел с ним лишь несколько минут: в торгпредстве как раз шел прием по случаю годовщины. Но вечером, когда прием окончился, гражданин Рубашов пригласил отца к себе домой, и я тоже был вместе с ними. Гражданин Рубашов очень устал, он надел халат, но принял нас очень любезно. Он поставил на стол вино, коньяк, пирожные, обнял отца и сказал: "Отвальная в честь последнего из могикан".

Голос Глеткина из-за спины Рубашова прервал рассказ Заячьей Губы:

— Не показалось ли вам, что Рубашов специально хочет вас напоить, чтобы легче было вас завербовать?

Рубашову показалось, что по измученному лицу Заячьей Губы скользнула усмешка; и впервые он уловил слабое сходство между человеком, стоявшим перед ним, и человеком, которого он принимал у себя в тот сравнительно недавний и такой далекий день после приема в торгпредстве. Однако усмешка, если она и мелькнула, тотчас же погасла. Заячья Губа моргнул и облизал языком раздвоенную верхнюю губу.

— Все это казалось мне очень подозрительным, но тогда я еще не проник в его подлинные намерения.

"Несчастный подонок! — подумал Рубашов. — Что они с тобой сделали!"

— Продолжайте, — произнес голос Глеткина.

Заячьей Губе потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями после того, как Глеткин его прервал. В тишине было слышно, как тощая секретарша точит карандаш.

— Рубашов и мой отец довольно долго вспоминали прошлое. Они не виделись уже несколько лет. Они говорили о дореволюционных временах, о людях старого поколения — тех, кого они знали или о ком слышали, — и о Гражданской войне. Часто они упоминали о событиях, о которых я ничего не знал, или шутили о чем-то, чего я не понимал.

— Вы много пили? — спросил Глеткин.

Заячья Губа беспомощно моргнул. Рубашов заметил, что, рассказывая, он слегка раскачивается, словно ему трудно стоять на ногах.

— По-моему, довольно много, — сказал Заячья Губа.— За последние годы я ни разу не видел, чтобы у отца было такое хорошее настроение.

— Через три месяца после этого вечера, — вновь раздался голос Глеткина, — ваш отец был разоблачен как враг народа, в результате чего еще через три месяца он был расстрелян?

Заячья Губа снова облизал языком верхнюю губу и, тупо уставясь на торшер, ничего не ответил. Рубашов повернулся было к Глеткину, но, ослепленный светом, сомкнул веки и снова медленно отвернулся, протирая рукавом пенсне. Карандаш секретарши скребнул по бумаге и остановился. Снова зазвучал голос Глеткина:

— В это время вы уже были в курсе контрреволюционной деятельности вашего отца?

— Да, — сказал Заячья Губа.

— И вы знали, что Рубашов разделяет убеждения вашего отца?

- Да.

— Изложите вкратце основные пункты разговора, несущественные подробности можете опустить.

Заячья Губа скрестил за спиной руки и прислонился к стене.

— Через какое-то время отец и Рубашов перестали вспоминать прошлое и заговорили о том, что происходит теперь. Они в осуждающем тоне говорили о состоянии дел в Партии и о методах управления страной. Вождя Партии как мой отец, так и Рубашов называли не иначе, как Первым. Рубашов сказал, что с тех пор, как Первый сел на Партию своей широкой задницей, под ней стоит такая вонь, что дышать невозможно, и поэтому он, Рубашов, предпочитает работать за границей.

Глеткин повернулся к Рубашову:

— Это, кажется, было незадолго до того, как вы написали заявление о своей беззаветной преданности Вождю Партии?

— Совершенно верно, — сказал Рубашов, повернувшись вполоборота к свету.

— В тот вечер не упоминал ли Рубашов о своем намерении написать такое заявление? — спросил Глеткин, обращаясь к Заячьей Губе.

— Да. Мой отец упрекнул его за это и сказал: "Мне за вас стыдно". А Рубашов рассмеялся и назвал отца старым дурнем и Дон-Кихотом. Он сказал, что важнее всего — продержаться до конца и дождаться часа, когда можно будет ударить.

— Что он имел в виду под словами "дождаться часа"?

И снова Заячья Губа жалобно и почти нежно взглянул на Рубашова. У Рубашова появилось нелепое ощущение, что молодой Киффер вот-вот подойдет к нему и поцелует его в лоб. Рубашов улыбнулся этой мысли и в это время услышал, как мелодичный голос Заячьей Губы ответил Глеткину:

— То есть дождаться часа, когда Вождь Партии больше не будет занимать свой пост.

Глеткин, от которого не укрылась улыбка Рубашова, сухо сказал:

— Эти воспоминания вас, кажется, забавляют?

— Возможно, — ответил Рубашов и снова закрыл глаза.

Глеткин поддернул манжету и продолжал допрашивать Заячью Губу:

— Итак, Рубашов говорил о том, что настанет час, когда Вождь Партии больше не будет занимать свой пост. А каким образом, по его мнению, этого можно было добиться?

— Мой отец считал, что когда-нибудь чаша терпения переполнится, и Партия сместит Вождя с занимаемой должности или заставит его подать в отставку. И что оппозиция должна за это агитировать.

— А Рубашов?

— Рубашов стал высмеивать отца и снова назвал его дурнем и Дон-Кихотом. Потом он сказал, что Первый — это отнюдь не случайное явление, но воплощение определенного человеческого свойства, а именно, твердолобой веры в непогрешимость собственного мнения, и эта вера дает Первому силу для полной беспринципности и неразборчивости в средствах. Поэтому по доброй воле Первый никогда от власти не откажется, и убрать его можно только насильственным путем. На Партию тоже надеяться нечего, потому что Первый держит в руках все нити управления Партией, а весь партийный аппарат его полностью поддерживает: партийные бюрократы знают, что их существование зависит от Первого и если его не станет, то и их не станет.

Несмотря на усталость и сонливость, Рубашов поразился, как хорошо молодой человек запомнил его слова. Сам он уже не помнил подробностей того разговора, однако не сомневался, что Заячья Губа излагает все совершенно точно. Он с новым интересом стал разглядывать молодого Киффера через пенсне.

Снова загремел глеткинский голос:

— Итак, Рубашов подчеркнул необходимость использования насильственных средств с целью свержения Первого… то есть Вождя Партии?

Заячья Губа кивнул.

— И его доводы, подкрепленные значительными дозами алкоголя, произвели на вас сильное впечатление?

Молодой Киффер ответил не сразу. Помолчав, он сказал тише, чем обычно:

— Я почти ничего не пил. Однако все, что он сказал, произвело на меня глубокое впечатление.

Рубашов наклонил голову. У него возникло подозрение, которое причинило ему почти физическую боль и заставило забыть обо всем остальном: не могло ли так случиться, что именно его тогдашние рассуждения побудили молодого Киффера сделать свои практические выводы — и, следовательно, этот горемыка стоит сей-

час здесь, в слепящем свете торшера, только благодаря его, Рубашова, беспощадной логике?

Глеткин не дал Рубашову обдумать эту мысль, его голос заревел:

— А после теоретической подготовки Рубашов стал прямо подстрекать вас перейти к действию?

Заячья Губа ничего не сказал. Он только моргал в ярком свете торшера.

Глеткин несколько секунд ждал ответа. Рубашов тоже инстинктивно поднял голову. После долгой паузы, в которой слышно было лишь жужжание тока в лампе, снова раздался голос Глеткина, еще более официальный и бесцветный, чем всегда:

— Может быть, освежить вашу память?

Глеткин произнес эту фразу с рассчитанной небрежностью, но молодого Киффера всего передернуло, точно его хлестнули кнутом. Он облизал языком губы, и в его глазах вспыхнул отчаянный животный страх. Затем Рубашов снова услышал приятный, мелодичный голос:

— Подстрекательство началось не в тот вечер, а на следующее утро, когда я беседовал с гражданином Рубашовым наедине.

Рубашов улыбнулся. То, что воображаемый разговор о непосредственном покушении был перенесен на следующий день, было явно самой искусной мизансценой глеткинского спектакля. То, что старик Киффер мог спокойно слушать, как его сына подбивают стать отравителем, казалось слишком невероятным даже Глеткину со всей его неандертальской психологией. Рубашов совершенно забыл о той мысли, которая его только что как обухом по голове стукнула. Он повернулся к Глеткину и, моргая, спросил:

— По-моему, обвиняемый имеет право во время очной ставки задавать вопросы?

— Вы имеете право задавать вопросы, — сказал Глеткин.

Рубашов повернулся к молодому человеку.

— Насколько я помню, — сказал он, глядя на Заячью

Губу через пенсне, — к тому времени, как вы вместе с вашим отцом были у меня в гостях в торгпредстве, вы только что окончили университет?

Теперь, когда Рубашов в первый раз прямо обратился к Заячьей Губе, у того глаза снова засветились доверием. Он кивнул.

-- Следовательно, это верно, — сказал Рубашов. — И если я опять же правильно помню, вы в то время собирались работать под руководством своего отца в Институте Истории. Не так ли?

— Да, — сказал молодой Киффер и, поколебавшись, добавил. — Но потом моего отца арестовали.

— Понимаю, — сказал Рубашов. — После этого, разумеется, вы не смогли продолжать работать в Институте Истории, и вам пришлось искать другие средства к существованию.

Он медленно повернулся к Глеткину и продолжал:

— Это доказывает, что во время моей встречи с этим молодым человеком ни он, ни я не могли предвидеть, где именно он будет работать. Из этого логически вытекает, что я не мог подбивать его кого-нибудь отравить.

Карандаш секретарши неожиданно застыл. Рубашов, даже не глядя на нее, понял, что она перестала стенографировать и повернула свою острую крысиную мордочку к Глеткину. Молодой Киффер тоже уставился на Глеткина, облизывая языком верхнюю губу. Но появившееся у Рубашова мимолетное ощущение торжества сразу же испарилось, он как-то по-странному почувствовал, что бесцеремонно нарушил торжественное выполнение какого-то священного обряда. Голос Глеткина прозвучал даже холоднее и официальнее, чем обычно:

— У вас есть еще вопросы?

— Пока это все, — сказал Рубашов.

— Никто не утверждает, что вы именно тогда поручили убийце воспользоваться ядом, — спокойно сказал Глеткин. — Вы отдали приказ убить, выбор средства вы предоставили исполнителю.

Он повернулся к Заячьей Губе:

— Не так ли?

— Да, — ответил тот, и в его голосе послышался вздох облегчения.

Рубашов помнил, что в обвинительном заключении выразительно говорилось о "подстрекательстве к убийству посредством отравления"; однако все это вдруг стало ему безразлично. Вправду ли молодой Михаил Киффер сделал такую безумную попытку или он только собирался что-то в этом духе сделать, целиком ли ему сфабриковали все его дурацкое признание или только частично — все это сейчас представляло для Рубашова лишь сугубо теоретический, абстрактно юридический интерес, практически же для него как для обвиняемого это теперь уже не играло роли. Важно было то, что этот жалкий дурак воплощал в себе его собственную, рубашовскую, логику, облеченную в плоть и кровь. Роли переменились: теперь уже не Глеткин, а он, Рубашов, старался при помощи педантической казуистики замутить чистую воду. Обвинение, которое до сих пор казалось Рубашову совершеннейшим абсурдом, практически добавило — пусть неуклюже и неумело, но добавило — недостающие звенья к идеально завершенной логической цепи.

И все-таки Рубашову казалось, что, по крайней мере в одном отношении, с ним обходятся несправедливо. Однако он был слишком измотан, чтобы попытаться выразить это в словами.

— Есть у вас еще вопросы? — спросил Глеткин.

Рубашов покачал головой.

Глеткин обратился к Заячьей Губе:

— Вы можете идти.

Он нажал кнопку звонка. Вошел конвоир в форме и надел на Заячью Губу наручники. Перед тем, как его увели, уже около двери, молодой Киффер еще раз повернулся к Рубашову, как обычно делал во дворе, в конце прогулки. Его взгляд, казалось, давил на Рубашова, как физическая тяжесть. Рубашов отвел глаза, снял пенсне и стал протирать его рукавом.

Когда Заячью Губу увели, Рубашов даже ему позавидовал. А глеткинский голос, официально и жестоко, прогрохотал ему в ухо:

— Вы признаете, что показание гражданина Киффера в своих основных чертах соответствует действительности?

Рубашов вынужден был снова повернуться к лампе. В голове у него гудело, и от резкого, яркого, теплого света в глазах горели красные пятна. Однако от него не ускользнули слова Глеткина "в своих основных чертах": этим Глеткин как бы раскрывал брешь в обвинительном заключении и давал себе возможность изменить формулировку "подстрекательство к убийству посредством отравления" на простое "подстрекательство к убийству".

— В основных чертах — да, — сказал Рубашов.

Манжеты Глеткина скрипнули, и даже стенографистка заерзала на стуле. Рубашов понял, что он произнес сейчас решающую фразу, скрепил признание своей вины. Да ведь этим неандертальцам вовек не понять, что именно он, Рубашов, считает виной и что он, по своим собственным критериям, называет правдой.

— Вас свет не беспокоит? — неожиданно спросил Глеткин.

Рубашов улыбнулся. Глеткин платил наличными. Такова ментальность неандертальца. И все же, когда слепящий свет лампы сделался гораздо мягче, Рубашов почувствовал облегчение и даже что-то вроде благодарности.

Теперь, хотя все еще моргая, он мог взглянуть Глеткину в лицо. Он снова увидел широкий красный шрам на гладко выбритом черепе.

— За исключением одного пункта, который я считаю существенным.

— А именно? — спросил Глеткин.

"Он, ясное дело, думает, что я имею в виду разговор с парнем наедине — разговор, которого и в природе-то не было, — подумал Рубашов. — Для него важно толь-

ко одно: поставить все точки над "i", даже если эти точки похожи на кляксы. Но, со своей позиции, он, может быть, и прав...".

— Пункт, который мне кажется существенным, — громко сказал Рубашов, — касается того, что, в согласии со своими тогдашними убеждениями, я говорил о необходимости насильственных действий. Однако я имел в виду не индивидуальный террор, а политические действия.

— То есть гражданскую войну? — спросил Глеткин.

— Нет, массовые действия, — ответил Рубашов.

— Которые, как вы сами понимаете, неизбежно привели бы к гражданской войне. И вы придаете этому различию такое большое значение?

Рубашов не ответил. Это различие, которому еще минуту назад он придавал такое большое значение, вдруг стало ему совершенно безразлично. Действительно: если для того, чтобы справиться с партийной бюрократией и чрезмерно раздутым партийным аппаратом, необходима гражданская война, так неужели лучше ввергнуть народ в войну, чем подсыпать яду в бутерброд Первого? Ведь если не будет Первого, режим может рухнуть гораздо быстрее, и при этом не прольется столько крови, как во время гражданской войны. Почему политическое убийство одного человека хуже, чем политическое убийство тысяч людей? Этот жалкий бедолага неверно понял, что он, Рубашов, имел в виду — однако не было ли в его мальчишеской ошибке больше последовательности, чем в поведении Рубашова в течение последних нескольких лет?

Тот, кто восстает против диктатуры, должен принять гражданскую войну как одно из средств борьбы. Тот, кого пугает гражданская война, должен отказаться от борьбы и примириться с диктатурой.

В этих простых словах, которые он сам когда-то написал — давным-давно, во время полемики с "умеренными", — содержался приговор ему самому. И он не чувствовал никаких сил спорить с Глеткиным. Он осознал,

что потерпел поражение на всех фронтах, и это принесло ему даже какое-то облегчение. Не нужно больше бороться, он сбросил с себя какую бы то ни было ответственность. Ему снова захотелось спать. В голове слабо гудело, как будто там отзывалось какое-то отдаленное эхо, и на несколько секунд у него возникло ощущение, что за столом напротив сидит не Глеткин, а Первый, и он глядит на Рубашова с той же всепонимающей иронией, с какой глянул на него тогда, в ту последнюю встречу, перед отъездом Рубашова за границу. Рубашову вспомнилась надпись, которую он прочел на воротах кладбища Эрранси, где были погребены Робеспьер, Сен-Жюст и их шестнадцать товарищей, закончивших жизнь на гильотине. Надпись эта состояла из одного слова: "Dormir"

Все, что происходило после того, Рубашову вспоминалось как сквозь туман. Может быть, он еще раз уснул на несколько минут или даже секунд, но на этот раз, насколько он помнил, ему ничего не приснилось. Должно быть, его разбудил Глеткин, который дал ему на подпись протокол. Глеткин передал ему вечное перо, оно все еще сохраняло тепло глеткинского кармана. Секретарша перестала записывать, и в комнате воцарилась мертвая тишина. Ток в лампе уже не жужжал, и она светила нормальным, неярким, затененным светом; а в окне уже брезжил рассвет.

Рубашов расписался.

Он все еще испытывал облегчение, ощущал избавление от какой-то ответственности, хотя и не понимал, почему это ощущение возникло. Его так клонило в сон, что он плохо соображал. Он прочел свое заявление, в котором признавался, что подстрекал молодого Киффера убить Вождя Партии, и у него возникло чувство, что все это — какое-то чудовищное недоразумение, ему захотелось перечеркнуть свою подпись и порвать протокол. Но он быстро вспомнил все, что сейчас произошло, протер пенсне рукавом и протянул бумагу обратно Глеткину.

Потом Рубашов помнил, как конвоиры вели его по

коридору. Полусонный, шатаясь как пьяный, он прошел мимо парикмахерской, мимо ступенек, ведших в подвал; он вспомнил свои страхи и ухмыльнулся. Затем он услышал, как за ним захлопнулась дверь камеры, и с несказанным блаженством растянулся на койке; он посмотрел на окно, увидел, -что начинает светать, и тут же уснул.

Когда дверь камеры снова распахнулась, еще не было совсем светло. Он проспал не больше часа. Сперва он подумал, что принесли завтрак, однако на пороге вместо старика ключника стоял верзила-конвоир. И Рубашов понял, что его снова поведут к Глеткину и что допрос будет продолжаться.

Он ополоснул лицо и шею, надел пенсне и пустился в путь по коридорам, мимо парикмахерской, мимо ступенек, ведущих в подвал, — ступенек, которые слегка покачивались, хотя он об этом и не знал.

4

С этого момента помутнение памяти становилось у Рубашова все сильнее. Позднее он мог припомнить только отдельные куски свого разговора с Глеткиным — разговора, который длился день за днем и ночь за ночью, с перерывами на час или два. Он не мог даже сказать, сколько дней и ночей все это продолжалось, — должно быть, примерно с неделю. Рубашов слыхал о том, что существует такой метод изматывания заключенного: двое или трое следователей сменяют друг друга, продолжая непрерывно его допрашивать. Однако в данном случае разница заключалась в том, что Глеткина никто не сменял, Глеткин изнурял себя так же, как он изнурял Рубашова. Таким образом, он лишил Рубашова последнего психологического средства защиты: мученического пафоса, морального превосходства жертвы.

Через двое суток Рубашов потерял ощущение дня и ночи. Когда после какого-нибудь часа сна его опять будили, он уже не мог сказать, что означает серый свет за окном: раннюю утреннюю зарю или сумерки. Коридор был всегда одинаково освещен желтым электрическим светом. Если во время допроса в окне начинало светлеть и Глеткин тушил свет — значит, наступало утро. Если в окне становилось темнее и Глеткин включал свою лампу— значит, наступал вечер.

Когда во время допроса Рубашов начинал чувствовать голод, ему, по приказу Глеткина, приносили чай и бутерброды. Однако аппетита у него обычно не было, то есть иногда его начинал мучить лютый голод, но как только перед ним появлялась еда, его тошнило. Глеткин в его присутствии никогда не ел, и по каким-то совершенно необъяснимым причинам Рубашов чувствовал, что попросить поесть — унизительно. Все, что касалось физических отправлений организма при Глеткине почему-то представлялось Рубашову унизительным: Глеткин никогда не выказывал признаков усталости, ни разу не зевнул; он не курил, и, казалось, не пил, и не ел, и всегда сидел за своим письменным столом в одной и той же позе, выпрямившись, в застегнутой на все пуговицы форме с хрустящими манжетами.

Хуже всего Рубашов чувствовал себя тогда, когда вынужден был просить Глеткина дать ему возможность облегчиться. Тогда Глеткин вызывал конвоира, и тот отводил Рубашова в уборную и ждал снаружи. Однажды Рубашов, находясь в уборной, нечаянно заснул. С тех пор конвоир всегда оставлял дверь открытой.

Все то время, что длились допросы, Рубашов чувствовал либо вялость и апатию, либо какую-то неестественную бодрость, возбуждение. Однажды он потерял сознание, но обычно от этого его в последнюю минуту спасало чувство собственного достоинства, он закуривал сигарету, мигал, и допрос продолжался.

Временами Рубашов и сам удивлялся, как у него хватает сил все это вытерпеть. Но он знал, что люди обычно недооценивают физическую выносливость человеческого организма, которая на самом деле поразительно велика. Он слышал, что иной раз заключенным не да-

вали спать по пятнадцать-двадцать дней и они это выдерживали.

Когда Рубашов после очной ставки с Заячьей Губой подписал признание в том, что замышлял убить Первого, он думал, что теперь-то все кончится. Но когда его растолкали и снова привели к Глеткину, понял, что это было только начало. Обвинительное заключение состояло из семи пунктов, а он пока сделал признание только по одному из них. Он-то был уверен, что залпом, до дна, испил всю чашу унижения. Теперь ему предстояло убедиться, что у беспомощности не меньше ступеней, чем у могущества, что от поражения голова может закружиться так же, как и от победы, и что бездна поражения бесконечна. И шаг за шагом Глеткин толкал Рубашова все глубже и глубже в эту бездну.

Конечно, Рубашов мог бы облегчить себе жизнь. Он мог бы подписать все сразу, одним махом или же, наоборот, решительно и бесповоротно отмести и отвергнуть все обвинения — и обрести покой. Но сложное и странное сознание какого-то своего долга мешало ему поддаться этому искушению. Всю свою жизнь Рубашов посвятил одной абсолютной идее, и, что такое "искушение", он знал лишь чисто теоретически. А теперь искушение преследовало его постоянно, в течение всех этих бесконечных и неотличимых друг от друга дней и ночей, когда он брел, шатаясь, по коридору и когда он сидел у Глеткина в белом, слепящем свете торшера, — искушение, которое состояло из одного только слова, начертанного на воротах кладбища побежденных: спать!

Этому искушению трудно было противиться: оно было такое тихое, мирное,такое не яркое, совсем не плотское; немое, оно не оглушало доводами. Все доводы были у Глеткина, оно же просто повторяло фразу, которую написал в своей записке парикмахер: "Умри молча!"

Иной раз, когда на Рубашова накатывала апатия, перемежавшаяся с возбуждением, он только шевелил губами, но так, что Глеткин не мог ничего расслышать. Тогда Глеткин громко прокашливался и поправлял

манжеты, а Рубашов протирал рукавом пенсне и тупо, сонно кивал, ибо он уже осознал, что его искуситель — это не кто иной, как тот самый немой собеседник, о котором он почти забыл и которому где-где, а уж в этом кабинете явно было не место, — собеседник, которого Рубашов окрестил "грамматическим измышлением".

— Итак, вы отрицаете, что, по поручению оппозиции, вели переговоры с представителем одной иностранной державы, имея целью заручиться поддержкой этой державы в деле свержения нашего строя? Вы отвергаете обвинение в том, что за эту помощь — прямую или косвенную — вы обещали заплатить территориальными уступками, то есть передачей под власть вышеупомянутой державы некоторых областей нашей страны?

Да, Рубашов отвергал это обвинение. И Глеткин напоминал ему, когда и где Рубашов лично беседовал с иностранным дипломатом, о котором шла речь. И Рубашов, пока Глеткин читал обвинение, снова вспоминал эту ничего не значившую случайную встречу. Сонный, оторопевший, он глядел на Глеткина и понимал, что попытаться что-то объяснить — безнадежно.

Встреча эта произошла после дипломатического приема в посольстве. Рядом с Рубашовым оказался крупный мужчина — герр фон З., второй секретарь посольства той самой страны, в которой всего несколькими месяцами ранее Рубашову выбили зубы. И Рубашов вел с этим дипломатом чрезвычайно увлекательную беседу о некоей редкой породе морских свинок, которую у себя в поместье разводил герр фон З. и которую некогда прежде разводил у себя отец Рубашова. Не исключено, что в свое время отец Рубашова и отец герра фон З. даже обменивались морскими свинками.

— А что стало с морскими свинками вашего отца?— спросил герр фон З.

— Во время Революции их убили и съели, — ответил Рубашов.

— А из наших сейчас делают эрзац жира, — грустно сказал герр фон З.

Он не пытался скрыть своего презрения к новому режиму, пришедшему к власти в его стране, — режиму, который, по чистой случайности, не турнул еще герра фон З. с занимаемого им высокого поста.

— Мы с вами находимся в сходном положении, — сказал он утешительным тоном и осушил рюмку ликера. — Оба мы пережили свое время. С разведением морских свинок теперь покончено: мы живем в век плебеев.

— Вы забываете, что я — на стороне плебеев, — заметил, улыбаясь, Рубашов.

— Я не то имею в виду, — сказал герр фон З. — В этом смысле я тоже согласен с программой нашего маньяка с черными усиками, но если бы только он не так истошно визжал! В конце концов, во имя своих убеждений остается только позволить себя распять, и больше ничего.

Они еще выпили по две чашки кофе, и во время второй чашки герр фон З. сказал:

— Господин Рубашов, если вы снова сделаете у себя Революцию и свергнете своего Первого, то, пожалуйста, не обращайтесь с морскими свинками так жестоко.

— Чрезвычайно мало вероятно, что у нас опять будет Революция, — сказал Рубашов. — Хотя, может быть, кое-кто из ваших друзей рассчитывает на такую возможность?

— Более чем, — ответил герр фон З. небрежным тоном. — Судя по тому, что мы услышали на вашем последнем политическом процессе, у вас в стране, кажется, происходят очень курьезные события.

— Значит, у кого-то из ваших друзей есть даже какие-то соображения относительно того, что вы со своей стороны предприняли бы, если бы это маловероятное событие случилось? — спросил Рубашов.

Герр фон З. ответил очень точно, словно он заранее предвидел вопрос Рубашова:

— Притаитесь и ждите. Но за все надо платить свою цену.

— И эту цену вы уже тоже обдумали? — спросил Рубашов, чувствуя, что его беззаботно-шутливый тон звучит несколько ненатурально.

— Разумеется, — ответил герр фон З.

И он назвал одну область, в которой выращивали пшеницу, — область, населенную неким национальным меньшинством.

После этого они попрощались и разошлись. С тех пор Рубашов ни разу об этой встрече не вспоминал — по крайней мере, не старался вспоминать. Но как мог он растолковать Глеткину, что это была всего лишь пустая светская болтовня за кофе и коньяком? Рубашов сонно взглянул на Глеткина. Нет, невозможно было вдолбить ему что-нибудь про морских свинок. Глеткин отродясь не пил кофе ни с каким герром фон З. Рубашов вспомнил, как запинался Глеткин, читая обвинительное заключение, как он ставил в словах неверные ударения. Он был явно пролетарского происхождения, от станка и от плуга, и читать он выучился уже взрослым. Где ему было понять, что разговор, начавшийся с морских свинок, мог закончиться Бог знает чем?

— Итак, вы признаете, что эта беседа имела место?— спросил Глеткин.

— Это была совершенно безобидная беседа, — устало сказал Рубашов и почувствовал, что Глеткин толкнул его еще на одну ступеньку вниз по лестнице, ведущей в бездну.

— Такая же безобидная, — сказал Глеткин, — как ваши чисто теоретические умствования перед молодым Киффером относительно необходимости устранения Вождя Партии насильственным путем.

Рубашов вытер пенсне рукавом. Да полно, вправду ли беседа с герром фон З. была так уж безобидна, как казалось Рубашову, как он пытался самого себя убедить? Конечно, Рубашов не вел "переговоров" и не заключил никакого соглашения. Да этот герр фон З. и не имел ни малейших полномочий заключать какие бы то ни было соглашения. Все ограничилось, как говорят дипло-

маты, "прощупыванием почвы". Однако такое прощупывание представляло собой логическое звено в стройной цепи тогдашних настроений Рубашова, а кроме того, поведение Рубашова некоторым образом соответствовало кое-каким традициям Партии. Разве старый вождь непосредственно перед Революцией не воспользовался услугами генерального штаба этой же самой европейской державы, дабы получить возможность возвратиться из эмиграции на родину, возглавить Революцию и довести ее до победного конца? А позднее — разве не заключил он мирный договор, сделав определенные территориальные уступки в обмен на мир? "Старик жертвует пространством, чтобы выиграть время", — остроумно заметил тогда один из друзей Рубашова. Забытая "безобидная" беседа с герром фон 3. настолько хорошо вписывалась в картину тогдашних идей и событий, что и самому Рубашову уже трудно было рассматривать эту беседу иначе, как глазами Глеткина. И вот сейчас Глеткин, который и читать-то толком не научился, который мыслил так неуклюже и в то же время приходил к простым и понятным решениям — может быть именно потому, что он ни черта не смыслил в морских свинках... Стоп! А откуда вообще Глеткин пронюхал об этой беседе Рубашова с герром фон 3.? Либо ее тогда подслушали — что едва ли, — либо услужливый герр фон 3. был ни мало ни много, как агентом-двойником, агентом-провокатором. Бог знает, какие у него на то были сложные причины! Но такие случаи нередко бывали и раньше. Рубашову приготовили ловушку — примитивную ловушку, какую только и были способны придумать такие дубы, как Глеткин и Первый,— и он, Рубашов, в эту ловушку так-таки прямо и шагнул...

— Если вам так хорошо известно о моей беседе с герром фон 3., — сказал Рубашов, — следовательно, вам известно и то, что эта беседа не имела никаких последствий.

— Разумеется, — ответил Глеткин. — Потому что мы

вовремя арестовали вас и обезвредили оппозицию по всей стране. Если бы мы этого не сделали, результаты замышлявшегося предательства не замедлили бы сказаться.

Что он мог на это ответить? Что эта беседа в любом случае не привела бы к каким бы то ни было серьезным результатам — помимо прочих причин, хотя бы только потому, что Рубашов слишком стар и не способен энергично и последовательно действовать — действовать так, как того требовали традиции Партии и как сам Глеткин действовал бы на его месте? Что вся "деятельность" так называемой оппозиции сводилась к старческому маразматическому брюзжанию, ибо и все поколение Старой Гвардии было таким же усталым и измотанным, как и сам Рубашов? Оно было измотано долгими годами борьбы в подполье, долгими годами тюрем и ссылок, в которых прошла добрая половина их молодости. Их обессилило многолетнее непрерывное нервное напряжение, многолетняя непрерывная необходимость подавлять свой страх, о котором не принято было говорить,— все это продолжалось многие годы, десятки лет. Их обескровили годы ссылки, годы фракционной борьбы внутри Партии, их опустошила неразборчивость в средствах, которыми они вели свою борьбу, их измучили бесчисленные поражения, их дух подорвало то, что победа привела к таким результатам. Не было никакого смысла доказывать Глеткину, что никакой действенной, организованной оппозиции Первому не существовало в природе, что вся оппозиция сводилась к болтовне, к бессмысленной игре с огнем, ибо поколение Старой Гвардии отдало все, что имело, и было досуха выжато, потеряло последние калории боевого духа. И, подобно мертвецам на кладбище Эррансi, эти люди могли надеяться только на то, что они уснут и будут ждать, пока потомки воздадут им по заслугам.

Что мог Рубашов сказать этому твердолобому неандертальцу? Сказать, что Глеткин, вроде бы, во всем прав, но делает лишь одну кардинальную ошибку: он верит,

что перед ним все еще сидит прежний Рубашов, тогда как на самом деле он видит лишь тень Рубашова? Сказать, что этот нынешний Рубашов действительно заслуживает наказания, но совсем не за то, что он как-то действовал, а как раз за то, что ни к какому действию он не способен? "Во имя своих убеждений остается только позволить себя распять, и больше ничего", — как когда-то заметил симпатичный герр фон З.

Перед тем как подписать протокол и вернуться в камеру, чтобы там на короткое время опять забыться сном, пока его не разбудят для новой пытки, Рубашов задал Глеткину один вопрос. Вопрос этот не имел отношения к обсуждаемым делам, но Рубашов знал, что каждый раз перед подписанием очередного протокола Глеткин умерял яркость света в лампе торшера — Глеткин платил наличными. Вопрос, который задал Рубашов, касался судьбы Иванова.

— Гражданин Иванов находится под арестом, — сказал Глеткин.

— Могу я спросить, в чем он обвиняется? — спросил Рубашов.

— Гражданин Иванов вел ваше дело небрежно, а в частных разговорах с вами выражал циничное сомнение по поводу обоснованности предъявленного вам обвинения.

— А вдруг он и вправду не верил в обоснованность обвинения? — спросил Рубашов. — Может быть, он был обо мне слишком хорошего мнения.

— В этом случае, — сказал Глеткин, — он обязан был приостановить ведение следствия и официально доложить компетентным органам о том, что, по его мнению, вы невиновны.

"Что он, издевается надо мной, что ли?" — подумал Рубашов. Глеткин был официален и бесцветен, как всегда.

Когда Рубашов в следующий раз склонился над очередным протоколом, держа в руке глеткинское вечное перо /стенографистка уже вышла из комнаты/, он сказал, разглядывая багровый шрам на черепе Глеткина:

— Могу я задать еще один вопрос? Я слышал, что вы сторонник определенных суровых методов — так называемых "жестких методов". Почему вы ни разу не применили ко мне физических способов воздействия?

— То есть пытку? — сказал Глеткин сухим, совершенно деловым тоном. — Как вы знаете, наш уголовный кодекс запрещает пытки.

Он помедлил. Рубашов только что подписал протокол.

— Кроме того, — продолжал Глеткин,— есть обвиняемые определенного типа, которые во всем сознаются под пыткой, однако на публичном судебном процессе берут все свои показания назад. Вы принадлежите к этому неподатливому типу людей. Политическая ценность вашего признания на суде зависит от добровольности этого признания.

О публичном судебном процессе Глеткин упомянул впервые. Однако устало плетясь по коридору вслед за верзилой-конвоиром, Рубашов помнил прежде всего не это, а слова Глеткина о своей "неподатливости". Против своей воли он ощутил, что эта фраза доставила ему приятное чувство удовлетворенности собой.

"Я начинаю впадать в детство, как какой-нибудь маразматический старикашка", — подумал Рубашов, ложась на койку. Однако пока он не уснул, он все еще ощущал эту удовлетворенность собой.

Каждый раз, как Рубашов после яростного сопротивления подписывал-таки очередной протокол и ложился на свою койку — изможденный, но по-странному удовлетворенный, понимая, что через час-другой его снова разбудят, — каждый раз у него было только одно желание: чтобы Глеткин дал ему как следует выспаться

и прийти в себя. Он знал, что не сможет этого сделать, пока битва не будет доведена до горького конца и он не поставит последнюю точку над "i" , — и, кроме того, он знал, что каждый новый поединок окончится новым его поражением и что конец уже ясен и несомненен. Зачем же он мучает себя и позволяет Глеткину себя мучить? А ведь он мог бы сдаться, признать себя побежденным в уже проигранной битве — и спать, спать, спать, чтобы больше уже не просыпаться! Мысль о смерти потеряла для Рубашова свой метафизический характер, она стала обозначать что-то теплое, искушающее, блаженное — стала обозначать сон. И все же какое-то особенное, извращенное чувство долга заставляло Рубашова бодрствовать и продолжать биться в безнадежном бою, биться до конца — пусть это был всего лишь бой с ветряными мельницами, — биться до тех пор, пока Глеткин не столкнет его до самой нижней ступеньки лестницы, до тех пор, пока перед его воспаленными, слезящимися глазами последняя клякса обвинительного заключения не првратится в логическую точку над "i". Он должен был пройти этот путь до конца. И только тогда, когда он с открытыми глазами войдет во тьму, он завоюет право уснуть и больше не просыпаться.

За все эти нескончаемые дни и ночи в Глеткине тоже произошла перемена. Не очень резкая перемена, но воспаленные глаза Рубашова ее заметили. До самого конца Глеткин сидел прямо, с неподвижным лицом, поскрипывая манжетами, в тени торшера, стоявшего позади письменного стола. Однако постепенно, мало-помалу, по мере того, как он умерял яркость лампы в торшере, из его голоса стала исчезать холодная жестокость, и в конце концов он начал говорить почти нормальным тоном. Он ни разу не улыбнулся, и Рубашову приходило в голову, что, может быть, неандертальцы вообще не умеют улыбаться; и в голосе у Глеткина не появилось никакой теплоты или человечности. Но однажды, когда

после длившегося несколько часов разговора у Рубашова кончились сигареты, Глеткин — сам некурящий — вынул из кармана пачку и протянул через стол Рубашову.

В одном пункте Рубашову удалось даже добиться победы — это касалось обвинения в саботаже, которым Рубашов якобы занимался, когда возглавлял алюминиевый трест.

Это было не такое уж тяжелое обвинение по сравнению с тем, в чем Рубашов уже признался раньше, но Рубашов боролся против этого обвинения так же отчаянно, как и против самых решающих криминалов. Всю ночь Рубашов и Глеткин сидели друг против друга. Рубашов опровергал один пункт обвинения за другим и не оставлял камня на камне от односторонней, пристрастной статистики. Хриплым от бессонницы голосом он приводил цифры и факты, которые каким-то чудом всплывали в его помутненном сознании. И все это время Глеткину не удавалось найти точку опоры, чтобы с нее повести на Рубашова атаку. Ибо уже со второй или третьей встречи Рубашов с Глеткиным как бы заключили молчаливое, невысказанное джентльменское соглашение: если Глеткину удавалось доказать, что существует основа для того или иного обвинения /даже если эта основа носила чисто логический, абстрактный характер/, он спокойно, с полного согласия Рубашова, додумывал факты и вставлял в цепь недостающие звенья — так сказать, ставил точки над "i" . Сами себе не отдавая в этом отчет, оба они приняли это соглашение как правило игры, и ни один из них уже не проводил разграничения между действиями, которые Рубашов фактически совершил,и действиями,которые он должен был бы совершить, поскольку они логически вытекали из его идей и настроений. И Рубашов и Глеткин в конце концов перестали отличать видимость от действительности, логическое умозаключение от факта. В редкие минуты просветления Рубашов иногда начинал это осознавать, и тогда у него появлялось ощущение,

что он просыпается от какого-то странного бреда; а Глеткину, казалось, это даже и в голову не приходило.

К утру, когда Рубашов все еще не сдался в вопросе о саботаже в алюминиевом тресте, в голосе Глеткина появились раздраженные нотки /так же, как это было во время первого допроса, когда молодой Киффер ответил невпопад/. Глеткин усилил яркость лампы в торшере, чего уже давно не делал, но, увидев на лице Рубашова ехидную ухмылку, снова убавил свет. Затем он задал еще несколько вопросов, которые не произвели на Рубашова никакого воздействия, и сказал, подводя итог:

— Итак, вы определенно отрицаете, что вы совершали какие-либо злонамеренные диверсионные акты в доверенной вам отрасли промышленности или что вы планировали совершение таких актов?

Рубашов кивнул. Даже спросонок ему было любопытно, что теперь будет. Глеткин повернулся к секретарше и сказал:

— Пишите: следователь рекомендует исключить этот пункт из обвинения за недостаточностью улик.

Рубашова охватило чувство ребяческой радости своим торжеством, он быстро закурил сигарету. В первый раз он одержал победу над Глеткиным. Конечно, это была лишь мелкая, незначительная победа в цепи поражений, вся битва все равно заведомо проиграна, — но, какая ни есть, это все-таки победа. А Рубашов уже много месяцев, а то и лет, не испытывал чувства торжества...

Глеткин забрал у секретарши протокол и отпустил ее; этот ритуал уже выработался у них за последнее время.

Когда они остались одни и Рубашов потянулся подписать протокол, Глеткин, протягивая ему свое вечное перо, сказал:

— Как показывает опыт, промышленный саботаж — это наиболее эффективный метод из всех, к каким прибегает оппозиция, чтобы создать для Правительства экономические трудности и вызвать недовольство в рабочем классе. Почему же вы так упорно настаиваете на том,

что вы не пользовались — и не собирались пользоваться этим методом?

— Потому что это технически невозможно,— ответил Рубашов. — И потому что постоянное сваливание вины за все неудачи на саботажников, из которых сделали жупел, приводит к эпидемии все новых и новых арестов и обвинений, и мне это противно.

Ощущение торжества, которого Рубашов давно уже не испытывал, помогло ему стряхнуть сон, почувствовать себя свежее, заговорить громче, чем обычно.

— Если, по-вашему, промышленный саботаж — это пустая выдумка, то в чем же тогда истинная причина неудовлетворительного состояния нашей экономики?

— Слишком низкие расценки на заводах, рабский труд и драконовские дисциплинарные меры, — ответил Рубашов. — Мне известно по моему тресту несколько случаев, когда рабочих расстреливали как саботажников, в то время как они были виноваты разве что в пустяковой халатности, вызванной переутомлением. Если человек на две минуты опаздывает на работу, его увольняют и в паспорт ему ставят штамп, с которым ему уже больше никуда не устроиться. А за двадцатиминутное опоздание его сажают в тюрьму.

Глеткин посмотрел на Рубашова своим обычным безжизненным взглядом и вдруг спросил своим обычным безжизненным голосом:

— Скажите, у вас в детстве были часы?

Рубашов удивленно посмотрел на Глеткина. Одной из наиболее заметных черт неандертальцев было полное отсутствие у них чувства юмора.

— Вы не хотите ответить на мой вопрос? — спросил Глеткин.

— Нет, почему же, — сказал Рубашов. — Конечно, у меня были часы.

— И сколько вам было лет, когда вам купили часы?

— Не помню точно: может быть, восемь или девять.

— Мне, — сказал Глеткин, — было шестнадцать лет, когда я впервые узнал, что час делится на минуты. Ког-

да мужикам из нашей деревни надо было ехать в город, они приходили на вокзал чуть свет и ложились спать в зале ожидания, пока не появлялся поезд, а он иной раз прибывал уже в полдень, а то и вечером или на следующее утро. Это — те самые крестьяне, которые теперь работают на заводах. В моем селе, например, построен самый крупный в мире завод по производству железнодорожных рельсов. В первый год работы завода бригадиры, разбив летку, укладывались спать в перерывах между плавками, пока их не расстреляли. Во всех других странах крестьянам понадобилось сто-двести лет, чтобы привыкнуть к трудовой дисциплине и к обращению с машинами. В нашей стране их нужно было приучить к этому всего лишь за десять лет. Если бы мы их не увольняли и не расстреливали за каждый пустяк, в стране была бы сейчас разруха, крестьяне на заводах спали бы до тех пор, пока из заводских труб трава не выросла, и все стало бы так, как было раньше. В прошлом году к нам приехала женская профсоюзная делегация из английского города Манчестера. Им показали наши заводы, и они потом в Англии с возмущением писали, что манчестерские текстильщики ни за что не позволили бы так с собой обращаться. Я читал, что текстильная промышленность в Манчестере существует уже двести лет. Я также читал, что с рабочими там сейчас обращаются примерно так же, как двести лет тому назад. Сейчас, гражданин Рубашов, вы говорите то же, что говорили эти женщины из Манчестера. Но вы-то должны бы знать и понимать куда больше, чем они. Поэтому странно, что вы пользуетесь теми же аргументами. Однако у вас с ними есть кое-что общее: и у вас, и у них в детстве были часы.

Рубашов ничего не сказал, но с интересом и по-новому взглянул на Глеткина. Что это такое? Неужели неандерталец начал вылезать из своей шкуры? Однако Глеткин неподвижно сидел в кресле, бесстрастный, как всегда.

— Может быть, в чем-то вы и правы, — сказал наконец

Рубашов. — Но ведь это вы навели меня на мысль задать свой вопрос. Зачем нужно выдумывать козлов отпущения, если в действительности наши трудности вызваны совершенно естественными причинами, которые вы так ярко описали?

— Как показывает опыт, все трудные и сложные процессы массам следует объяснять просто и ясно. Насколько я знаю историю, человечество всегда нуждалось в козлах отпущения. Ни одна эпоха без них не обходилась. Ваш друг Иванов говорил мне, что это явление — религиозного происхождения. Если я не ошибаюсь, он мне объяснил, что и само выражение "козел отпущения" идет от обычая древних евреев ежегодно приносить своему Богу в жертву козла, нагруженного всеми их грехами. В том возрасте, когда вам купили часы, наш сельский поп учил меня, что Иисус Христос называл себя ягненком, взявшим на себя все грехи людские. Я никогда не мог понять, почему, если кто-то заявит, что он жертвует собой ради человечества, это может помочь человечеству. Однако в течение двух тысяч лет люди явно считали это вполне естественным.

Рубашов взглянул на Глеткина. К чему он клонит? Чего он добивается этим спором? В каком лабиринте блуждает мысль неандертальца?

— Если кто-нибудь скажет мужикам из моей деревни, — продолжал Глеткин, — что, несмотря на Революцию, они все еще отсталые и дикие, это не окажет на них никакого воздействия. Если им скажут, что они герои труда, что они работают лучше американцев, а что все зло — от дьяволов и саботажников, это, по крайней мере, окажет *какое-то* воздействие. Истина — это то, что полезно для человечества, ложь — это то, что для него вредно. В кратком курсе всемирной истории, опубликованном Партией для вечерних школ, сказано, что в течение первых нескольких столетий своего существования христианская религия способствовала объективному прогрессу человечества. Разумного человека не интересует, правду ли говорил Иисус Христос,

когда утверждал, что он — сын Бога и что он родился в результате непорочного зачатия. Все это — символы, но крестьяне понимают эти символы буквально. У нас есть такое же право придумывать полезные символы, которые крестьяне понимают буквально.

— Ваш ход мыслей, — заметил Рубашов, — иногда напоминает мне ход мыслей Иванова.

— Гражданин Иванов, — сказал Глеткин,— был, как и вы, выходцем из старой интеллигенции. Беседуя с ним, можно было почерпнуть полезные исторические познания, которых нет у человека с недостаточным образованием. Разница между нами заключается в том, что я пытаюсь использовать эти знания на службе Партии, а гражданин Иванов был циником…

— Был? — спросил Рубашов, снимая пенсне.

— Гражданин Иванов, — сказал Глеткин, глядя на Рубашова без всякого выражения, — был расстрелян вчера вечером по приговору, вынесенному в административном порядке.

...После этого разговора Глеткин позволил Рубашову проспать целых два часа. Идя назад в свою камеру, Рубашов удивлялся, почему известие о смерти Иванова не произвело на него более сильного впечатления. Оно только начисто уничтожило возбуждение, вызванное его недавней победой над Глеткиным, и он снова чувствовал себя разбитым и смертельно измотанным. Наверно, в таком состоянии, в котором он был теперь, он просто не б о б е н на глубокие эмоции. Да ведь и даже до того, как он ыл спосуслышал о смерти Иванова, ему самому было стыдно, что у него появилось ощущение торжества. Глеткин обладал теперь над ним такой властью, что даже его победу превращал в поражение. Грузный и бесстрастный, он восседал за столом как звериное воплощение государства, которому принадлежало само существование рубашовых и Ивановых. Он был плоть от их плоти, он был их порождение, но он развивался по-своему и достиг полнейшей бесчувственности.

Разве сам Глеткин не признал, что он — духовный

наследник Иванова и старой интеллигенции? Рубашов в сотый раз повторил про себя, что Глеткин и новые неандертальцы только завершают работу того поколения, к которому принадлежали люди с пронумерованными головами. То, что доктрина этих людей утратила в устах глеткиных всякие человеческие черты, объяснялось только временными причинами. Когда Иванов пользовался теми же аргументами, которыми сейчас пользуется Глеткин, в тоне Иванова оставалось хотя бы какое-то человеческое чувство, оставшееся от памятного ему исчезнувшего мира. Можно отрицать свое детство, но нельзя вычеркнуть его из своей жизни. Прошлое Иванова до конца оставалось с ним и придавало его словам оттенок легкой грусти, потому-то Глеткин и назвал его циником. А таким, как Глеткин, нечего было вычеркивать из своей жизни, они не нуждались в том, чтобы отрицать свое прошлое, ибо прошлого у них не было. Они родились без пуповины, без чувства юмора и без чувства грусти.

5

Отрывок из дневника Н. З. Рубашова.

По какому праву мы, которые уходим со сцены, смотрим свысока на таких людей, как Глеткин? Когда на земле появился неандерталец, все обезьяны, наверно, лопались от смеха. Высокоцивилизованные обезьяны изящно прыгали с ветки на ветку, а неандерталец был неуклюж и косолапо переваливался, передвигаясь только по земле. Обезьяны, мирные и пресыщенные, затевали друг с другом веселые игры или, погрузясь в философские размышления, искали у себя блох, а угрюмый неандерталец тяжело ступал по земле и колотил вокруг себя увесистой дубиной. Обезьяны лукаво посматривали на него с деревьев и швыряли в него орехами. Иногда их охватывал страх. Они питались такой изысканной пищей, как фрукты и нежные растения, и у них были утонченные манеры, а неандерталец пожирал сырое мя-

со, он убивал животных и своих соплеменников. Он срубал деревья, росшие испокон веков, сдвигал камни, которые столетиями покоились на одном и том же месте, он нарушал все установившиеся законы и традиции джунглей. Он был груб, жесток, в нем не было никакого чувства собственного достоинства — с точки зрения высококультурных обезьян он был пережитком варварского прошлого. И последние выжившие шимпанзе при виде человека до сих пор все еще презрительно задирают нос…

6

Через пять или шесть дней случилось неприятное событие: во время доп роса Рубашов потерял сознание. Рубашов с Глеткиным только что добрались до последнего пункта обвинения — до вопроса о мотивах преступной деятельности Рубашова. В обвинении в качестве мотива фигурировали просто "контрреволюционные намерения", да еще мимоходом упоминалось — как нечто само собой разумеющееся,— что Рубашов был платным агентом враждебной иностранной державы. И против этого обвинения Рубашов вступил в свой последний бой. Спор начался, когда еще только светало, и сильно затянулся: дело шло уже к полудню, когда вдруг Рубашов самым непоэтичным образом покачнулся, соскользнул со стула, растянулся на полу да так и остался лежать.

Через несколько минут он пришел в себя, перед его глазами топорщился страусиный пушок на черепе доктора. Доктор поливал ему голову водой из бутылки, тер ему виски и дышал в лицо запахом мяты, хлеба и жира. Рубашова стошнило. Доктор матюгнулся скрипучим, хриплым голосом и сказал, что Рубашова нужно на несколько минут вывести на свежий воздух. Глеткин, который наблюдал за всем этим без всякого выражения на лице, нажал кнопку звонка, приказал почистить ковер и отвести Рубашова назад в камеру. Через несколько минут старик надзиратель вывел Рубашова на прогулку.

Попав на свежий воздух, Рубашов зашатался как пьяный. Он обнаружил, что у него есть легкие, которые впитывают и смакуют кислород, подобно тому, как нёбо гурмана смакует освежающее сладкое вино. Над двором светилось бледное, ясное небо. Было одиннадцать часов утра. В этот час Рубашова раньше обычно выводили на прогулку — но это было давным-давно, в незапамятные времена, до того, как началась муторная череда этих нескончаемых дней и ночей. Какой же он был кретин, что не ценил этого блаженства! Почему нельзя просто жить, и дышать, и ходить по снегу, и наслаждаться теплом бледных солнечных лучей, падающих на лицо? Позабыть о кошмаре глеткинского кабинета, о слепящем торшере, обо всем этом отвратительном фарсе — и просто жить, жить, жить, как живут все люди!

Как раз наступило время прогулки, и Рубашова поставили в пару с тем самым мужичком в лаптях, с которым его уже однажды выводили во двор. Мужичок некоторое время трусил рядом, искоса наблюдая за Рубашовым, а потом пару раз прокашлялся и сказал, пугливо оглядываясь на конвоиров:

— С коих пор я вас не видал, ваше благородие! И с виду-то вы квелый, быдто того гляди преставитесь. Толкуют, война будет.

Рубашов не ответил. Он боролся с искушением поднять комок снега и скатать его в шарик в ладонях. Тюремный круг неспешно двигался по двору.

— Вскорости посевная,— продолжал мужичок.— Как снег стает, пора овец на пастьбу в горы выгонять. Трое суток минуется, покуда они до выпасов дотянутся. Раньше, бывало, все села в округе враз выгоняли овец на пастьбу. Как развидняется, так, куды ни глянь, везде одни овцы, овцы, на тропах, на пажитях, и в первый день народ цельными селами следом за стадом валом валит. Вы, чай, за всю жисть столько овец не видывали, ваше благородие, да столько собак, и пыль столбом, и кругом лай да блеянье... Господи ты Боже мой, то-то потехи было!

Рубашов поднял голову и подставил лицо солнечным

лучам. Солнце было все еще бледное, подернутое маревом, но в воздухе уже теплело. Рубашов следил, как над пулеметной вышкой носятся друг за другом стрижи. Негромкий, жалобный голос крестьянина продолжал литься Рубашову в уши:

— В такой денек, как нониче, чуешь, как снежок тает, и аж душа радуется. А нам с вами, ваше благородие, видать, вскорости обоим каюк. Порешат нас, потому как мы с вами реакционеры, да еще чтоб снова не воротились добрые бывалые годы, когда было такое справное житье...

— Вы действительно считаете, что в те годы была хорошая жизнь?— спросил Рубашов, но крестьянин пробормотал что-то невнятное, потом помолчал и спросил:

— Вы помните Библию, ваше благородие? Как племена угодили в пустынь и принялись на крик кричать: дескать, приглядим себе воеводу да ворочаемся взад к мясным горшкам в Египет?..

Крестьянин радостно и понимающе кивнул... Заключенных уже разводили обратно по камерам.

Действие свежего воздуха и морозца сразу прошло, у Рубашова снова стали свинцово слипаться глаза, его замутило. Перед тем как войти в здание, он подобрал горсть снега и потер им лоб и горящие глаза.

Но с прогулки его повели не в камеру, как он надеялся, а снова в кабинет Глеткина. Глеткин сидел за столом в той же позе, в какой он сидел, когда Рубашова увели — как давно это было?— и выглядел так, словно за все это время даже с места не сдвинулся. Шторы были задернуты, торшер включен: в этом кабинете время остановилось, как в гниющем пруду. Рубашову бросилось в глаза сырое пятно на ковре. Он вспомнил, как его стошнило. Значит, с тех пор, как его отсюда вывели, прошло не больше часа.

— Надеюсь, вы сейчас чувствуете себя лучше,— сказал Глеткин.— Мы остановились на заключительном вопросе: каковы были мотивы вашей контрреволюционной деятельности? Это последний вопрос. Когда он будет выяснен и вы подпишете протокол, мы с вами попрощаемся...

Торшер теперь горел очень ярко — давно уже Глеткин не доводил лампу до такого накала,— и Рубашову пришлось зажмуриться.

—...И тогда вы сможете отдохнуть,— закончил Глеткин.

Рубашов приложил руки к вискам, но той приятной прохлады, которая появилась, когда он потер виски снегом, теперь уже не было. Слово "отдохнуть", которым Глеткин закончил свою фразу, казалось, все еще висело в воздухе. Отдохнуть — и уснуть! Приглядим себе воеводу и вернемся назад в Египет... Рубашов несколько раз моргнул и сквозь пенсне посмотрел на Глеткина.

— Какие у меня были мотивы, вы знаете не хуже меня,— сказал Рубашов.— Вы прекрасно знаете, что я не исходил из "контрреволюционных намерений" и что я не находился на службе у иностранной державы. То, что я думал и что я делал, я думал и делал потому, что так подсказывала мне моя совесть.

Глеткин вынул из ящика стола пухлое досье. Он пробежал его глазами, вынул оттуда один лист и прочел своим обычным безжизненным, монотонным голосом:

— "Для нас вопрос о субъективно добрых намерениях того или иного индивидуума не имеет ни малейшего значения. Тот, кто ошибается, должен нести о т в е т . Тот кто прав, должен быть освобожден от ответственности. Это — закон исторического долга, и это — наш з а к о н " . Я читаю то, что написали вы сами — написали в своем дневнике вскоре после того, как вас арестовали.

Глеткин вынул из досье еще лист, но прочел из него всего лишь одну фразу:

— "Честь — это беззаветное служение своему делу, служение, при котором нет места личному мелкому тщеславию, служение до последней черты".

— Не понимаю,— сказал Рубашов,— какая польза Партии от того, что ее члены на глазах у всего мира обливают себя помоями. Я полностью признал себя виновным

в том, что я преследовал ложные и объективно вредные цели. Неужели вам всего этого мало?

Он надел пенсне, беспомощно посмотрел на лампу и хриплым, усталым голосом закончил:

— В конце концов, фамилия "Рубашов" сама по себе — это тоже часть истории Партии, Вымазывая ее грязью, вы пачкаете историю Революции.

Глеткин перелистал бумаги в досье.

— На это я тоже могу ответить словами из вашего же собственного дневника. "Нужно молотком вбивать каждый лозунг в сознание масс, предельно упрощая его и повторяя несчетное количество раз. То, что объявляется правильным, должно сиять как золото. То, что объявляется ложным, должно быть черным как сажа. Политические лозунги, предназначенные для масс, следует раскрашивать, как имбирные пряники на ярмарке".

Рубашов помолчал. Потом он сказал:

— Ах, так вот к чему вы клоните! В вашей кукольной комедии я должен сыграть роль дьявола: выть, скрежетать зубами, изрыгать огонь — и притом делать все это еще и добровольно. Дантона и его друзей избавили, по крайней мере, от такого унижения.

Глеткин закрыл досье. Он наклонился вперед и подернул манжеты.

— Своими показаниями на открытом судебном процессе вы можете в последний раз послужить Партии.

Рубашов не ответил. Он сомкнул веки и впивал кожей тепло, струящееся от лампы, как человек, пытающийся заснуть на солнце. Но от глеткинского голоса не было спасения.

— По сравнению с тем, что с е й ч а с поставлено на карту, все, что делал Дантон, да и весь Конвент,—это только галантное театральное представление. Я кое-что читал о Французской Революции. Ее вожди носили пудреные косички и декламировали высокопарные фразы про честь и достоинство. Они придавали слишком большое значение тому, чтобы умереть красиво, сделав этакий

величественный жест на гильотине, и их мало волновало, принесет их жест пользу или вред.

Рубашов молчал. В ушах у него гудело, а поверх этого гула грохотал глеткинский голос — этот голос безжалостно врывался Рубашову в мозг со всех сторон, без пощады молотил по его ноющему черепу:

— Вам известно, что сейчас поставлено на карту,— продолжал Глеткин.— В нашей стране впервые в истории Революция не только завоевала власть, но и удержала ее. Наша страна — это бастион новой эпохи. А ведь эта страна занимает шестую часть планеты, и в ней живет десятая часть населения земли.

Теперь глеткинский голос раздавался сзади. Впервые за все время он встал из-за стола и ходил взад и вперед по комнате. Его надраенные до блеска сапоги скрипели при каждом шаге, отутюженная форма шуршала, и Рубашов чувствовал запах пота и свежей кожи.

— Когда у нас победила Революция, мы верили, что нашему примеру сразу же последуют все народы. Но этого не произошло. Вместо этого в мире поднялась волна реакции, и эта волна реакции грозит нас затопить. И вот в Партии резко размежевались две группы. Одна состояла из авантюристов, которые слышать ни о чем не хотели, кроме как о Мировой Революции, и они готовы были рискнуть всем, чего мы добились, ради того, чтобы эта Мировая Революция разразилась. К этой группе принадлежали и вы. Эта группа представляла собою смертельную опасность для нашего государства, и мы ликвидировали ее.

Рубашов хотел поднять голову и что-нибудь ответить. Шаги Глеткина отдавались у него в мозгу. Но он слишком устал. Он откинулся на стуле и снова закрыл глаза.

— Вождь Партии,— грохотал Глеткин,— обладал более широкой перспективой, он видел глубже и дальше, и он выработал более верную тактику. Он понял, что самое главное сейчас — это выжить и сохранить наш бастион. Он понял, что период выжидания может продлиться еще десять, двадцать, может быть, и пятьдесят лет — до тех пор, пока мир не созреет для новой революционной вол-

ны. А пока нам придется держаться в одиночестве. И у нас теперь только одна задача: во что бы то ни стало выжить...

В мозгу у Рубашова зазвучала фраза: "Долг революционера — сохранить свою жизнь для будущих битв". Кто это сказал? Он сам? Или Иванов? Во имя этого принципа он когда-то принес в жертву Орлову. И куда его это привело?

—...Во что бы то ни стало выжить,— гремел глеткинский голос— Наша задача — любой ценой удержать наш бастион. Любой ценой! Любой! С гениальной прозорливостью Вождь Партии осознал эту главную задачу и стал последовательно делать все, чтобы ее выполнить. Политику Коминтерна следовало подчинить нашей национальной политике. И всякого, кто этого не понимал, мы обязаны были уничтожить. Нам пришлось ликвидировать целые группы наших лучших агентов в Европе. Когда того требовали интересы сохранения нашего бастиона, мы, не колеблясь, уничтожали нами же созданные организации. Мы, не колеблясь, сотрудничали с полицией реакционных государств, чтобы подавить революционные движения, возникшие в неподходящий момент. Чтобы сохранить наш бастион, мы, не колеблясь, предавали наших друзей и вступали в сговор с врагами. Этого требовала задача, которую поставила перед нами История, ибо мы совершили первую победоносную Революцию. Недалеким людям, эстетам, абстрактным гуманистам, моралистам этого понять не дано. Но Вождь Партии понял, что победит тот, кто сумеет дольше всех продержаться и выжить.

Неожиданно Глеткин перестал ходить по комнате и замер за стулом у Рубашова. Шрам у него на черепе побагровел. Отдуваясь, Глеткин вытер лицо платком. Казалось, ему немного стыдно, что он изменил своей прежней сдержанности. Он снова сел за стол и поправил манжеты. Немного привернув свет, он продолжал обычным для него безжизненным голосом:

— Линия Партии определена четко, наши цели ясны, задачи поставлены. Наша тактика основывается на принципе, согласно которому цель оправдывает средства. Любые

средства, без исключения! И в духе этого принципа Народный Прокурор потребует для вас смертного приговора, гражданин Рубашов.

Ваша фракционная группа, гражданин Рубашов, разбита и уничтожена. Вы хотели вызвать в Партии раскол, хотя отлично знали, что этот раскол приведет к гражданской войне. Вы знаете, что среди крестьян зреет недовольство, ибо крестьяне еще не доросли до понимания необходимости тех жертв, которых требует от них История. Во время войны, которая разразится, возможно, через несколько месяцев, раскол в рядах Партии может стать причиной катастрофы. Поэтому любой ценой следует сохранить единство Партии. Партия должна быть единой и неделимой, как монолит, ее должны скреплять строжайшая дисциплина и беззаветная преданность всех ее членов. Вы и ваши друзья, гражданин Рубашов, проделали в монолите Партии трещину. И если ваше раскаяние искренне, вы обязаны помочь нам эту трещину заделать. Я вам уже сказал: только так вы можете теперь в последний раз послужить Партии.

Ваша задача проста. Вы ее сами сформулировали: то, что правильно, должно засиять как золото, а то, что ложно, должно стать черным как сажа. Цели оппозиции — это ложные цели. Следовательно, ваша задача — вызвать к оппозиции презрение и ненависть, заставить массы понять, что оппозиционность — это преступление, а вожди оппозиции — преступники. Таков простой язык, понятный массам. Если вы начнете разглагольствовать о сложности своих мотивов, вы только посеете в массах смущение. Ваша задача, гражданин Рубашов, — сделать так, чтобы не вызвать к себе ни жалости, ни сострадания. Жалость и сострадание к оппозиционерам чреваты смертельной опасностью для нашего государства.

Я надеюсь, товарищ Рубашов, вы понимаете, какую задачу ставит перед вами Партия.

Впервые Глеткин назвал Рубашова "товарищем". Рубашов встрепенулся. Его залила горячая волна, против

которой он был бессилен. Трясущимися руками он надел пенсне.

— Понимаю,— сказал он.

— Заметьте,— продолжал Глеткин,— что Партия не обещает вам никакого вознаграждения. Некоторые из подследственных уступили физическому давлению. Другие — потому, что им обещали сохранить жизнь или обещали сохранить жизнь их родным, которые находятся у нас в руках в качестве заложников. Вам, товарищ Рубашов, мы не предлагаем никаких сделок и не даем никаких обещаний.

— Понимаю,— повторил Рубашов.

Глеткин взглянул в досье.

— У вас в дневнике меня поразила одна фраза,— сказал он.— Вы пишете: "Я мыслил и поступал так, как считал нужным. Если я был прав, мне не в чем раскаиваться; если я неправ, я должен нести ответ".

Глеткин поднял глаза от бумаг и посмотрел Рубашову прямо в лицо:

— Вы были неправы, и вы обязаны нести ответ, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно. После победы Мировой Революции, когда это уже не причинит никакого ущерба, будут опубликованы тайные архивы. И тогда мир узнает, что именно скрывалось за этой, как вы выражаетесь, кукольной комедией,— мир узнает, что мы выполняли волю Истории...

Он несколько секунд помолчал, поддернул манжеты, шрам у него на черепе снова побагровел, и он с некоторой неловкостью закончил:

— И тогда вы, как и некоторые ваши друзья из старшего поколения, получите ту жалость и то сострадание, в которых вам отказано сегодня.

Пока он говорил, он подвинул к Рубашову готовый протокол и положил рядом перо.

Рубашов поднялся и сказал с натянутой ухмылкой:

— Мне всегда было интересно, как это выглядит, когда неандерталец становится сентиментальным. Теперь я это увидел.

— Не понимаю,— сказал Глеткин, тоже поднимаясь.

Рубашов подписал протокол допроса, в котором он признавался, что он совершал свои преступления, исходя из контрреволюционных мотивов и будучи платным агентом иностранной державы. Потом он поднял голову, и взгляд его упал на висевший над столом портрет Первого, и снова он уловил на портрете то выражение всепонимающей иронии, которое мелькнуло на лице Первого, когда Первый в последний раз, прощаясь, пожимал руку Рубашову,— тот грустный цинизм, с которым вездесущий портрет взирал свысока на все человечество.

— Не важно, понимаете вы или нет,— сказал Рубашов.— Есть вещи, которые понятны только старшему поколению — поколению рубашовых, Ивановых, кифферов. Теперь все кончено.

— Я дам указания, чтобы до начала процесса вас не тревожили,— сказал Глеткин снова холодным и официальным тоном. Его раздражало, что Рубашов улыбается.— У вас есть какие-нибудь особые желания?

— Спать,— сказал Рубашов.

Он стоял у открытой уже двери подле верзилы-конвоира — маленький, старый и такой невзрачный в своем пенсне и с бородкой клинышком.

— Я дам указания, чтобы вас не будили,— сказал Глеткин.

Когда дверь за Рубашовым захлопнулась, он прошел обратно к столу. Несколько секунд он сидел неподвижно, затем позвонил и вызвал секретаршу.

Секретарша села на свое место в углу.

— Поздравляю вас с успехом, товарищ Глеткин,— сказала она.

Глеткин подкрутил лампу, так, чтобы она светила ровно и не ярко.

— Вот это,— сказал он, глядя на торшер,— да еще много дней и ночей без сна, и полное переутомление. Все дело в физической выносливости.

Поставив цель, нам укажи и средства;
Ведь в мире цель от средств неотторжима:
Другая цель — и средства уж не те,
И каждый путь ведет к иной мете.

Фердинанд Лассаль,
"Франц фон Зикинген"

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ИЗМЫШЛЕНИЕ

1

— "...Будучи спрошен, признает ли он себя виновным, подсудимый Рубашов громко и отчетливо ответил: "Да". На следующий вопрос Народного Прокурора относительно того, действовал ли подсудимый из контрреволюционных побуждений, он снова ответил: "Да", но более тихим голосом...".

Дочь дворника Василия читала медленно, по слогам. Она расстелила газету на столе и водила пальцем по строчкам. Время от времени она поправляла пеструю цветастую косынку на голове.

— "...Будучи спрошен, желает ли он воспользоваться своим правом взять защитника, подсудимый заявил, что он отказывается от этого права. После этого суд перешел к чтению обвинительного заключения...".

Дворник Василий лежал на кровати, повернувшись лицом к стенке. Вера Васильевна никогда не могла понять, слушает старик то, что она ему читает, или спит. Иногда он что-то бормотал про себя. Она научилась не обращать на это внимания и завела обычай каждый вечер читать вслух газету — из политпросветительных соображений, даже если после работы она задерживалась на партсобрании и возвращалась домой уже затемно.

— "...В обвинительном заключении указывается, что виновность подсудимого Рубашова по всем пунктам предъявленного ему обвинения полностью доказана на основании вещественных доказательств и его собственного признания в ходе предварительного следствия. В

ответ на вопрос Председателя Суда, имеются ли у него жалобы по поводу характера ведения предварительного следствия, подсудимый ответил отрицательно и добавил, что он сделал свое признание добровольно, ввиду искреннего раскаяния в своей преступной контрреволюционной деятельности...".

Дворник Василий не пошевельнулся. Над кроватью, прямо у него над головой, висел портрет Первого. Рядом с портретом из стены торчал ржавый гвоздь, еще недавно здесь висела фотография Рубашова, сделанная в те дни когда Рубашов был партизанским командиром. Василий инстинктивно потянулся рукой к дырке в матраце, где он когда-то прятал от дочери свою старую замызганную Библию. Вскоре после ареста Рубашова дочь нашла Библию и выбросила ее — из политпросветительных соображений.

— "...По просьбе Народного Прокурора,— продолжала читать Вера Васильевна,— подсудимый Рубашов стал описывать, как, начав с контрреволюционного мышления, он постепенно скатился до прямой контрреволюционной деятельности и превратился в изменника своей Родины. В присутствии напряженно слушавшей аудитории Рубашов начал свое заявление следующими словами: "Граждане Судьи, я хочу объяснить, что заставило меня полностью раскрыться перед следователем и перед вами, представителями пролетарского правосудия в нашей стране. Моя история является наглядным подтверждением того факта, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии и что малейшее отклонение от линии Партии неизбежно перерастает в преступление против революционного порядка управления. Убеждения оппозиции привели нас к тому, что мы неизбежно скатывались все глубже и глубже в болото предательства. Я хочу рассказать, как произошло мое моральное падение: пусть оно послужит предостережением для тех, кто в этот решительный час все еще колеблется, все еще не полностью доверяет партийному Руководству и сомневается в правильности генеральной линии Партии. Покрытый позором, втоптанный

в грязь, перед лицом смерти, я хочу рассказать о постыдном пути врага народа, чтобы это стало уроком и устрашающим примером для миллионов граждан нашей страны...".

Дворник Василий перевернулся на кровати и зарылся лицом в матрац. Перед его глазами возник Рубашов — бородатый партизанский командир, который, когда они попадали в передрягу, умел так смачно материться, что, небось, не только что людям, а и самому Господу Богу было любо-дорого слушать. "Втоптанный в грязь, перед лицом смерти..." Василий закряхтел. Библию у него дочь отняла, но он и так помнил многие куски наизусть.

— "...В этот момент Народный Прокурор прервал рассказ подсудимого и задал ему несколько вопросов, касающихся судьбы бывшей секретарши Рубашова гражданки Орловой, которая некоторое время тому назад была расстреляна по обвинению в измене Родине. Из ответов подсудимого Рубашова явствовало, что последний, будучи благодаря бдительности Партии загнан в угол, переложил ответственность за свои преступления на Орлову с целью спасти свою подлую жизнь и продолжать свою гнусную антипартийную деятельность. Н.З.Рубашов с бесстыдной и циничной откровенностью признался в этом чудовищном преступлении. На замечание Народного Прокурора: "Вы, по-видимому, совершенно лишены каких бы то ни было нравственных норм" — подсудимый Рубашов с саркастической улыбкой ответил: "По-видимому". Его поведение неоднократно вызывало среди публики стихийную реакцию, выражавшуюся в гневных и презрительных возгласах. Впрочем, Председатель Суда быстро восстанавливал порядок в зале. Один раз эти проявления революционного чувства уступили место взрыву веселья: а именно, когда подсудимый прервал описание своих преступлений и попросил прервать заседание на несколько минут, заявив, что он страдает от "невыносимой зубной боли". Наше Революционное Судопроизводство гуманно: Председатель Суда немедленно удовлетворил просьбу подсудимого и объявил пятиминутный перерыв...".

Дворник Василий лежал на спине и думал о тех днях, когда Рубашова с триумфом водили с митинга на митинг. Это было после того, как его вырвали из тюрьмы за границей. Василий вспоминал, как Рубашов под непрекращающиеся овации стоял на трибуне на фоне красных флагов и лозунгов, опирался на костыли и с улыбкой протирал пенсне рукавом.

"А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели Его в багряницу, и били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему".

— Что-ты там бормочешь?— спросила Вера Васильевна.

— Ничо,— ответил Василий и повернулся к стенке. Он порылся в дырке в матраце, но там было пусто. И на ржавом гвозде над кроватью тоже ничего уже не висело. Когда дочь сняла со стенки портрет Рубашова и выбросила его в мусорное ведро, Василий не стал противиться — он был слишком стар, чтобы вынести позор тюрьмы.

Дочь прервала чтение и поставила на стол примус, чтобы согреть чай. По дворницкой распространился острый запах керосина.

— Ты хоть слыхал, что я читала?— спросила Вера Васильевна:

Василий послушно повернулся к ней.

— Все слыхал,— сказал он.

— Вот видишь теперь,— сказала Вера Васильевна, накачивая шипящий примус,— он сам признался, что враг народа. Будь это не так, фиг бы он признался! Намедни у нас на фабрике митинг был, там вынесли лезорюцию, все ее должны подписать.

— Много вы все понимаете!— вздохнул Василий.

Вера Васильевна кинула на него быстрый взгляд, и взгляд этот снова заставил его повернуться к стенке. Каждый раз, когда она на него так смотрела, Василий вспоминал, что он стоит ей поперек дороги, потому что Вере Васильевне хотелось заполучить себе всю комнату. Три недели назад она расписалась в ЗАГСе с техником со своей фабрики, но жить молодым было негде. Парень жил

в общежитии, в одной комнате еще с двумя товарищами по работе; а чтобы получить жилплощадь, надо было ждать много лет.

Примус наконец разгорелся. Вера Васильевна поставила на него чайник.

— Секретарь ячейки прочитал нам лезорюцию. В ней сказано, что мы требуем безжалостного уничтожения врагов народа и что осиновый кол им в могилу. Тот, кто проявляет к врагам жалость, сам враг народа, и о нем надобно тут же доложить куда следует,— объяснила она намеренно деловым голосом.— Рабочие должны проявлять бдительность. Нам всем роздали копию лезорюции, чтоб собирать под ней подписи.

Вера Васильевна достала из своей блузы слегка смятый лист бумаги и разложила его на столе. Василий лежал теперь на спине, прямо над его головой из штукатурки торчал ржавый гвоздь. Василий скосился на бумагу, которую дочь положила рядом с примусом, затем быстро отвернулся.

"И сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься ты от Меня...".

Вода в чайнике начала шуметь. Василий с хитринкой в глазах спросил:

— А кто воевал в гражданскую, тем тоже подписывать?

Дочь, склонившись над чайником, поправила цветастую косынку.

— Никто не обязан подписывать,— сказала она с тем же неприятным взглядом, что и раньше.— Это кто как хочет. У нас на фабрике конечно же все знают, что он жил в этом доме. Секретарь нашей ячейки после собрания меня спросил, были ли вы до конца дружны и часто ли разговаривали.

Старик Василий одним движением резко сел на постели. Это усилие заставило его закашляться, и на его худой, золотушной шее вздулись жилы.

Дочь поставила на край стола два стакана и всыпала в каждый из них по щепотке сухого чая из бумажного пакетика.

— Чего ты опять бормочешь?— спросила она.

— Дай сюда эту е... бумагу!— буркнул Василий.

Дочь передала ему листок.

— Может, мне прочесть, чтоб ты знал, что там написано?

— Нет,— сказал старик подписываясь.— Не хочу я знать. А теперича давай чай.

Дочь передала ему стакан. Губы Василия зашевелились: прихлебывая маленькими глотками бледно-желтую жидкость, он что-то бормотал про себя.

Когда они допили чай, дочь снова принялась читать газету. Слушание дела Рубашова и Киффера подходило к концу. Когда в ходе допроса стали выясняться подробности о намерении обвиняемых убить Вождя Партии, в зале разразилась буря негодования. Стали раздаваться крики: "Расстрелять их, как бешеных собак!" На последний вопрос Народного Прокурора относительно побудительных мотивов его действий подсудимый Рубашов, который, казалось, совсем уже пал духом, отвечал негромким, запинающимся голосом: "Я могу сказать только одно: мы, члены оппозиции, поставив своей низменной и преступной целью свержение власти трудящихся в нашей стране, применяли те методы, которые соответствовали нашим целям и которые были столь же низменны и преступны, сколь и сама цель".

Вера Васильевна резко отодвинула свой стул.

— Сволочь!— сказала она.— Прямо дурно становится, как он ползает на брюхе.

Она отложила газету и начала с шумом убирать примус и стаканы. Василий наблюдал за ней. Горячий чай придал ему смелости. Он сел на кровати:

— Много ты понимаешь!— сказал он.— Бог знает, что у него на уме было, когда он все это говорил! Партия всех вас вышколила, как врать да вертеть хвостом, а кто извирается, так у того уж и ни чести, ни совести. Чо плечами-то дергаешь?— прикрикнул он.— Аль правда глаза

ест? До того изоврались, что уму-то с совестью ужо, чай, и не по дороге, и, ежели берешь одно, так другое уж и не ко двору. Нет, негоже это, ежели кто очень уж лезет из кожи вон. Сказано в Писании: "Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого".

Василий снова улегся на матрац и отвернулся, чтобы не видеть выражения лица дочери. Давно он ее так смело не обрывал. А теперь Бог знает что из этого может выйти, раз она уж забрала себе в ум, что хочет заполучить эту комнату для себя со своим мужиком. Все-таки надо уметь вертеть хвостом, не то на старости лет угадаешь в острог или будешь подыхать в стужу где-нибудь под мостом. Вот так вот оно и выходит: либо живешь умно, либо по совести, а чтоб и то, и другое вместе — так этого ни в жизнь не получается.

— А теперь я прочитаю конец,— заявила Вера Васильевна.— "Народный Прокурор окончил перекрестный допрос Рубашова. Затем еще раз был подвергнут перекрестному допросу подсудимый Киффер. Он повторил во всех подробностях свои показания относительно замышлявшегося покушения... Будучи спрошен Председателем Суда, нет ли у него вопросов к Кифферу, на что закон дает ему право, подсудимый Рубашов ответил, что отказывается от этого права. На этом допрос закончился, и судебное заседание было закрыто. В начале следующего заседания гражданин Народный Прокурор начал свою заключительную речь...".

Речи Прокурора старик Василий не слушал. Он повернулся к стенке и задремал. Потом он так и не мог сообразить, сколько времени он спал, сколько раз дочь подливала керосин в лампу и сколько раз ее указательный палец доходил до низа страницы и переходил на новую колонку. Проснулся Василий тогда, когда Народный Прокурор, подводя итоги своей речи, потребовал для подсудимых высшей меры наказания. Может быть, дочь изменила к концу речи свой тон, а может быть, она сделала паузу — во всяком случае, Василий снова проснулся, когда

она дошла до последней фразы в речи Народного Прокурора. Фраза эта была напечатана жирным черным шрифтом: "Я требую расстрелять всех подсудимых, как бешеных собак!"

Затем подсудимым было предоставлено последнее слово.

Подсудимый Киффер повернулся к Судьям и умолял сохранить ему жизнь, принимая во внимание его молодость. Он снова признал всю гнусность своего преступления и попытался возложить всю ответственность на подстрекателя Рубашова, завербовавшего его в контрреволюционную организацию. Во время своей речи он от волнения начал заикаться, чем вызвал веселое оживление в зале. Впрочем, Председатель Суда быстро навел порядок. Затем последнее слово было предоставлено подсудимому Рубашову...".

В газете было живо описано, как подсудимый Рубашов "взволнованным взглядом обвел зал и, не найдя ни одного сочувственного лица, в отчаянии опустил голову". Последнее слово подсудимого Рубашова было кратким. Оно еще более усилило то неприятное впечатление, которое произвело на суд поведение подсудимого во время судебного заседания.

— "...Гражданин Председатель Суда! Граждане Судьи!— заявил подсудимый Рубашов.— Я говорю сегодня в последний раз в моей жизни. Оппозиция разбита и уничтожена. Если сегодня я спрошу себя, за что я умираю, мне нечего будет ответить. Человеку не за что умирать, если он умирает, не раскаявшись и не примирившись с Партией и Движением. Поэтому, в преддверии своего последнего часа на земле, я склоняю колени перед моей страной, перед рабоче-крестьянскими массами, перед всем народом. Конец политическому маскараду, конец паясничанью дискуссий и фиглярству заговоров. Мы давно уже были политическими мертвецами — задолго до того, как гражданин Прокурор потребовал для нас смертного приговора. Горе побежденным, которых История втаптывает в прах. Граждане Судьи, у меня есть только одно оправдание: я не ис-

кал для себя легкого пути. Тщеславие и последние остатки гордости шептали мне:"умри молча, не говори ни слова; или умри с гордым жестом, с лебединой песней на устах; излей свою душу и брось вызов своим обвинителям, преврати скамью подсудимых в трибуну". Мне, старому мятежнику, сделать это было бы куда легче. Но я преодолел в себе такое искушение. И теперь задача моя выполнена. Я понес ответ, я заплатил сполна перед лицом Истории. Просить о снисхождении было бы унизительно. Больше мне сказать нечего...

После недолгого совещания Председатель Суда зачитал приговор. Судебная Коллегия Верховного Революционного Суда приговорила каждого из подсудимых к высшей мере наказания — расстрелу и конфискации всего личного имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит...".

Старик Василий не отрывал взгляда от ржавого гвоздя у себя над головой.

— Да свершится воля твоя! Аминь!— пробормотал он и повернулся к стенке.

2

Итак, все было кончено. Рубашов знал, что до полуночи он перестанет существовать.

Он бродил по своей камере, в которую вернулся после суда,— шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов обратно. Когда он останавливался на третьей черной плитке от окна и прислушивался, тишина, царившая меж чисто выбеленных стен, входила в него, будто поднимаясь из глубин колодца. Он все еще не понимал, почему и внутри него, и снаружи все стало так спокойно. Но он знал, что этого внутреннего покоя ничто более не в силах нарушить.

Оглядываясь назад, он мог даже вспомнить точный момент, когда к нему пришло это благословенное спокойствие. Это было на суде, перед тем, как он начал свое последнее слово. Он искренне полагал, что выжег из своего сознания последние остатки эгоизма и тщеславия, но в

тот момент, когда глаза его обшаривали зал и встречали лишь равнодушие или презрение, он в последний раз затосковал по маленькой подачке — жалости. Содрогаясь от озноба, он хотел согреть себя своими же словами. Его охватило искушение заговорить о своем прошлом, подняться и разорвать сеть, которой опутали его Иванов и Глеткин. С какой радостью он, подобно Дантону, крикнул бы в лицо своим обвинителям: "Вы наложили свои грязные лапы на всю мою жизнь. Так пусть же она поднимется и бросит вам вызов!" О, как хорошо он знал речь Дантона перед Революционным Трибуналом! Он мог бы повторить ее слово в слово: еще мальчишкой он выучил ее наизусть. "Вы хотите удушить Республику в крови. Доколе каждый шаг свободы будет обозначен могильным камнем? Тирания приближается, она сбросила с лица покрывало, она гордо подняла голову, она ступает по нашим мертвым телам!"

Слова эти уже вертелись у него на кончике языка, но искушение длилось лишь короткое мгновение, а затем, когда он начал произносить свое последнее слово, на него опустился колокол безмолвия. Он понял, что теперь уже слишком поздно.

Слишком поздно возвращаться назад тем же самым путем, снова ступать по могилам, на которых запечатлены следы твоих ног. Того, что сделано, не зачеркнуть словами.

Слишком поздно для них, для них всех. Когда для них наступил час в последний раз предстать перед миром, никто из них не сумел превратить скамью подсудимых в трибуну, никто из них не сумел сказать миру правду и бросить обвинения назад, в лицо судьям, как некогда сделал Дантон.

Некоторым сковал уста страх перед пыткой — например. Заячьей Губе,— другие пытались спасти свою жизнь, третьи тешили себя надеждой, что им удастся, по крайней мере, вырвать своих жен и детей из когтей глеткиных. А лучшие из них хранили молчание, дабы сослужить последнюю службу Партии и дать ей возможность использовать

себя в качестве козлов отпущения. И, кроме того, у каждого из них, даже самых лучших, была на совести своя Орлова. Слишком глубоко увязли они в собственном прошлом, запутались в паутине, которую сами же сплели, приспосабливаясь к законам своей хитроумной этики и хитроумной логики. Все они виновны, хотя и совсем не в том, в чем сами себя обвиняли. Им не оставалось пути назад. И все они уходили со сцены так, как требовали ими же созданные правила их странной игры. Публика не ждала от них лебединой песни. Им приходилось играть по заранее написанному сценарию, а роль их была — волчий вой в ночи.

Итак, все кончено. Рубашов сыграл свою роль, отвыл по-волчьи вместе с другими волками. Теперь все это кончилось. Он расплатился сполна. Он потерял свою тень, освободился от всех земных уз. Всю свою жизнь он каждую мысль доводил до ее логического итога и действовал соответственно, идя во всем до конца. Те часы, которые у него еще оставались, принадлежали тому молчаливому собеседнику, который начинал реально существовать именно тогда, когда кончалось логическое мышление. Он окрестил его "грамматическим измышлением" — с той робостью относительно первого лица единственного числа, которую своим ученикам внушила Партия.

Рубашов остановился около стены, отделявшей его от камеры № 406. С того времени, как из камеры увели Рип ван Винкля, стена была безмолвна. Рубашов снял пенсне, бросил по сторонам быстрый взгляд и простучал:

— 6-2.

Несколько мгновений он вслушивался — ему было по-детски совестно,— а потом простучал еще раз:

— 6-2.

Он снова прислушался и снова повторил ту же последовательность цифр. Стена молчала. Он никогда еще сознательно не отстукивал слова "Я". А может быть, и вообще никогда. Он прислушался. Стук умер, не оставив и отзвука.

Рубашов продолжал расхаживать по камере. С тех

пор, как над ним опустился колокол безмолвия, он размышлял над некоторыми вопросами, на которые ему так хотелось бы найти ответ, пока у него еще есть время. Это были довольно наивные вопросы: о значении страдания, или, точнее, о разнице между страданием, которое имеет смысл, и страданием бессмысленным. Очевидно, смысл имеет только то страдание, которое неизбежно, иными словами, которое заложено в биологической необходимости. С другой стороны, любое страдание, возникающее по социальным причинам,— это страдание случайное и, следовательно, несущественное и бессмысленное. Но оказалось, что покончить с этим вторым родом страдания возможно только в том случае, если на какое-то время непомерно увеличить количество страданий первого рода. Итак, возникал вопрос: было ли это действие оправдано? Очевидно, было, если говорить об абстрактном "человечестве"; но когда этот принцип применялся по отношению к "человеку" в единственном числе — цифре "6-2", реальному существу из костей и мяса, кожи и крови, то этот принцип доводил до абсурда.

В юности Рубашов верил, что, работая для Партии, он найдет когда-нибудь ответы на все такие вопросы. Работа длилась сорок лет, и уже почти в самом начале он забыл тот вопрос, ради выяснения которого он и ввязался во все это дело. А теперь эти сорок лет были уже позади, а он снова вернулся к тому, что, как и в юности, понятия не имел, как ответить на исходный вопрос. Партия взяла от Рубашова все, что он мог ей дать, но ответов от нее он так и не получил. Не отвечал ему и его молчаливый собеседник, чье имя он выстучал о стену пустой камеры. Он был глух к прямым вопросам, какими бы насущными и отчаянными они ни были.

И, однако, существовали способы вызвать его на разговор. Иногда он отвечал совершенно неожиданно — отзывался на мелодию, или даже на воспоминание о мелодии, на воспоминание о сложенных лодочкой руках мадонны на рисунке "Пьета" или о некоторых сценах из далекого детства. Как будто на звук камертона отвечала вибрация.

и, когда это начиналось, наступало то состояние, которое мистики называют "экстазом", а святые — "созерцанием". Самый великий и мудрый из всех современных психологов признал, что такое состояние существует, и назвал его "океаническим состоянием". И действительно, человеческая личность растворяется, как крупинка соли в океане, но, кажется, в то же время в этой самой крупинке соли содержится и вся бесконечность океана. Местоположение этой крупинки во времени и пространстве уже невозможно определить. Это состояние, в котором мысль теряет свою направленность и двигается по кругу, подобно игле компаса у магнитного полюса, пока наконец вовсе не отделяется от своей оси и не начинает свободно путешествовать в пространстве, как луч света в ночи, и тогда начинает казаться, что все мысли и ощущения, даже боль и радость,— это только отдельные линии спектра того же самого луча света, который распадается в призме сознания.

Рубашов бродил по камере. В былые дни он бы сам с презрением от себя отвернулся за такие ребяческие рассуждения. Но сейчас ему было не стыдно. Перед лицом смерти метафизика становилась реальностью. Рубашов остановился у окна и прислонился лбом к раме. Над пулеметной вышкой виднелась полоска голубого неба. Голубизна была бледной и напоминала Рубашову ту особенную голубизну, которую он видел над головой, когда, мальчишкой, лежал в траве в отцовском саду и смотрел, как на фоне облаков медленно двигаются ветки тополей. Видимо, даже этой голубой полоски было достаточно для того, чтобы привести его в "океаническое состояние". Он читал, что, как доказано новейшими открытиями в астрофизике, вселенная совсем не бесконечна — хотя у пространства нет границ, оно само продолжает себя, подобно сферической поверхности. Рубашов никогда не мог этого постичь, но раньше это было не так важно, а теперь вдруг стало насущной потребностью. Бог весть почему. Рубашов вспомнил, где он об этом читал. Когда его арестовали в Германии, товарищи контрабандой доставили к

нему в камеру нелегальный партийный орган. В трех колонках наверху страницы описывалась забастовка на текстильной фабрике, а внизу был набранный петитом подвал, в котором говорилось о новом открытии — что вселенная конечна. На половине страница была оборвана, он так никогда и не узнал, что было в оторванном клочке.

Рубашов стоял у окна и отстукивал оправой своего пенсне по безмолвной стене. В детстве он всерьез собирался заняться астрономией, а потом он сорок лет занимался совсем другими вещами. Почему Народный Прокурор не спросил его: "Подсудимый Рубашов, а как обстоит дело с бесконечностью?" Он не смог бы ответить — и вот тут-то, тут-то и лежали подлинные истоки его вины... И могла ли быть большая вина?..

Когда он прочел ту заметку про бесконечность — тогда он тоже сидел в одиночной камере и все его мышцы еще болели от недавних пыток,— и он пришел в состояние странной экзальтации: впал в "океаническое состояние". А потом ему было стыдно перед самим собой. Партия осуждает состояния такого рода. Она называет их мелкобуржуазным мистицизмом, бегством в башню из слоновой кости, она называет их уходом от жизни, дезертирством с поля сражения классовой борьбы. "Океаническое состояние" носит контрреволюционный характер.

Партия отрицает свободную волю индивидуума — и в то же время она поощряет добровольное самопожертвование. Она отрицает способность индивидуума выбирать между двумя возможными решениями и в то же время требует, чтобы он всегда делал правильный выбор. Она отрицает его способность отличать добро от зла и в то же время патетически разглагольствует о вине и предательстве. Каждый индивидуум находится под необоримым гнетом экономической необходимости, он стал колесиком и винтиком в часовом механизме, заведенном раз и навсегда, на целую вечность вперед, и движение этого механизма нельзя ни остановить, ни направить по другому пути — но Партия требует, чтобы колесико

восстало против часового механизма и изменило свой путь. Но где-то во всех этих расчетах есть ошибка, уравнение не сходится.

Сорок лет Рубашов боролся против экономической необходимости. Она была самым страшным злом, раком, разъедавшим человечество и пожиравшим его внутренности. Необходима была операция — потом уже начнется процесс выздоровления. Все остальные предлагаемые методы лечения — не что иное, как пустой дилетантизм, пустая романтика, мелкое шарлатанство. Нельзя вылечить больного, изгоняя из него недуг благочестивыми молитвами. Единственное верное решение в таких случаях — это нож хирурга и его холодный расчет. Но где бы ни пускали в действие нож, на месте старой язвы обязательно появлялась новая. И снова уравнение не сходилось.

Сорок лет Рубашов жил, строго подчиняясь велениям Партии. Он следовал законам логических расчетов. Каленым железом разума он выжег из своей совести все пережитки старой нелогичной морали. Он отвернулся от искусительного шепота своего молчаливого собеседника и всеми силами боролся против "океанического состояния". И куда все это его привело? Посылки непогрешимой истины привели к совершенно абсурдному выводу. Неопровержимые доводы Иванова и Глеткина привели его прямо к мрачной и призрачной комедии открытого судебного процесса. Может быть, человеку просто не следует обдумывать каждую мысль до ее логического вывода, доводить каждое дело до логического конца.

Сквозь решетку окна Рубашов смотрел на голубую полоску неба над пулеметной вышкой. Когда он оглядывал сейчас снова свое прошлое, ему казалось, что сорок лет он куда-то бежал в состоянии совершеннейшей безумной одержимости — мчался, движимый лишь чистым разумом. Может быть, человеку не нужно полностью освобождаться от всех старых пут, от сдерживающих тормозов —таких, как "Да не будет...", "Не делай..." и "Помни о...",— может быть, человек не должен позволять себе безудержно рваться прямо к цели.

Голубизна начала чуть розоветь, близились сумерки, вокруг вышки, медленно, осторожно хлопая крыльями, кружила стая темных птиц. Нет, уравнение явно не сходится. Очевидно, недостаточно обратить взор человека к цели и вложить ему в руку нож. Из эксперимента с ножом ничего путного не выходит. Может быть, когда-нибудь позже. А пока еще человек слишком молод и несовершенен. Как он буйствовал на Великом Опытном Поле, в Революционном Государстве, Бастионе Свободы! Глеткин оправдывает все происходящее тем, что следует во что бы то ни стало сохранить этот бастион. Но на что этот бастион похож внутри? Нет, невозможно построить Рай из бетона. Бастион, может быть, и удастся сохранить, но он уже не будет нести в себе великой идеи и не сможет послужить примером для мира. Режим Первого так же осквернил идеал Государства Социальной Справедливости, как некоторые средневековые папы осквернили идеал Великой Христианской Империи. Флаг Революции приспущен.

Рубашов бродил по камере. Было тихо, и уже смеркалось. Вероятно, скоро за ним придут. Где-то в уравнении кроется ошибка — да и не в уравнении даже, а во всей математической системе мышления. Рубашов давно уже нутром это чувствовал — еще с тех пор, как произошла история с Рихардом и "Пьетой",— но он никогда не осмеливался в этом признаться даже самому себе. Может быть, Революция разразилась слишком рано, как выкидыш с уродливым, деформированным телом. Может быть, трагическая ошибка допущена в вычислении времени. Римская цивилизация тоже, вроде бы, уже в I-м веке до нашей эры была обречена, она казалась такой же прогнившей до мозга костей, как и наша нынешняя, и тогда тоже лучшие люди считали, что назрело время для великих перемен; и, однако, этот старый, исчерпавший себя мир продержался еще ни мало ни много, как пять столетий. Пульс Истории бьется неспешно. Человек считает годами, а Исто-

рия — поколениями. Может быть, сейчас на дворе — все еще второй день творения. Как бы хотелось Рубашову еще немного пожить, чтобы разработать свою теорию относительной политической зрелости народных масс!

В камере было тихо. Рубашов слышал только поскрипывание плиток под ногами. Шесть с половиной шагов до двери, в которую они войдут, чтобы его забрать, шесть с половиной шагов до окна, за которым сгущалась ночь. Скоро все будет кончено. Но когда Рубашов задавал себе вопрос: "За что же, в конце концов, я умираю?"— он не находил ответа.

В системе — какая-то ошибка. Может быть, ошибочно как раз то положение, которое он до сих пор считал аксиомой, во имя которого он раньше приносил в жертву других, а теперь другие приносят в жертву его,— положение о том, что цель оправдывает средства. Именно эта фраза погубила великое братство Революции и довела их всех до буйного помешательства, до полной одержимости. Как это он записал в своем дневнике:

"Мы выбросили за борт все условности, наш единственный руководящий принцип — это принцип неумолимой логики; мы плывем без этического балласта".

Может быть, именно в этом — корень зла. Может быть, человечеству нельзя плыть без балласта. И, может быть, один лишь чистый разум — это неисправный компас, который поведет судно таким извилистым и запутанным курсом, что цель в конце концов навсегда исчезнет в тумане.

Может быть, теперь наступает время великой тьмы.

Может быть, позже, много позже родится новое Движение: оно поднимет новое знамя, и тогда по земле станет бродить новый призрак, для которого законом существования станет не только "экономическая необходимость", но и "океаническое состояние" Может быть, члены этой новой Партии будут носить монашеские сутаны и проповедовать, что только чистые средства оправдывают цель.

Может быть, они объявят ложной доктрину, согласно которой человек — это только результат деления миллиона на миллион, и откроют новую арифметику, основанную на умножении: миллион индивидуумов вместе составит новую форму, новую группу, которая не будет более аморфной массой, но у которой появится новое сознание и новая индивидуальность; и "океаническое состояние" этой новой группы увеличится миллионнократно, в бесконечном, но повторяющем само себя пространстве.

Рубашов резко остановился и прислушался. Из коридора начал доноситься приглушенный звук барабанного боя.

3

Казалось, эту барабанную дробь приносил издали ветер. Она еще звучала приглушенно, но все приближалась и приближалась. Рубашов не шевелился. Ноги его, стоявшие на плитках пола, уже не повиновались воле. Он чувствовал, как сила земного притяжения поднимается снизу и входит в него. Он отступил на три шага назад, к окну, не отрывая взгляда от глазка. Потом он сделал глубокий вздох и закурил сигарету. Стенка, у которой стояла койка, заговорила:

— ЗАЯЧЬЮ ГУБУ УВОДЯТ. ОН ПЕРЕДАЕТ ВАМ ПРИВЕТ.

Неожиданно свинцовая тяжесть исчезла из ног Рубашова. Он подошел к двери и начал быстро и ритмично колотить ладонями обеих рук по металлу. Передавать новости в камеру № 406 было теперь бессмысленно: там по-прежнему никого не было. Цепь обрывалась. Рубашов не отрывался от глазка и продолжал барабанить.

В коридоре, как всегда, горел тусклый, желтый свет. Рубашов, как всегда, видел железные двери камер от № 401 до № 407. Барабанная дробь усилилась. Медленно приближались шаркающие шаги; чьи-то ноги отчетливо шлепали по плиткам пола. Внезапно в глазке появилась фигура Заячьей Губы. Он остановился, губы его дрожали, как тогда, когда он стоял под ярким электрическим

светом в кабинете Глеткина; руки в наручниках были заломлены назад в странно неловкой позе. Он не мог видеть Рубашова сквозь глазок и просто смотрел на дверь слепыми, ищущими, ощупывающими зрачками, как будто за этой дверью таилась его последняя надежда. Затем раздалась команда, и Заячья Губа послушно повернулся и двинулся вперед. Позади него шел верзила в форме и с револьвером на бедре. Один за другим они прошли мимо глазка и скрылись из поля зрения Рубашова.

Барабанная дробь постепенно замолкла, снова наступила тишина. От стены у койки снова послышался стук:

— ОН ХОРОШО ДЕРЖАЛСЯ.

С тех пор, как Рубашов заявил № 402, что он капитулирует, они друг с другом не разговаривали.

№ 402 продолжал:

— ОСТАЕТСЯ МИНУТ ДЕСЯТЬ. КАК САМОЧУВСТВИЕ?

Рубашов понял, что № 402 завязал разговор, чтобы облегчить его последние минуты. Спасибо ему! Рубашов сел на койку и отстучал в ответ:

— Я ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО УЖЕ ПОЗАДИ.

— НО ВЫ НЕ СТАНЕТЕ СКУЛИТЬ О ПОЩАДЕ,— отстучал № 402.— МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВАМ САМ ЧЕРТ НЕ БРАТ.

Он помедлил, потом быстро повторил последние слова:

— САМ ЧЕРТ НЕ БРАТ.

№ 402 явно старался не допустить, чтобы беседа застопорилась:

— КАК ЭТО: ГРУДИ, КАК БОКАЛЫ С ШАМПАНСКИМ? ХА-ХА! САМ ЧЕРТ НЕ БРАТ.

Рубашов прислушался к звукам в коридоре. Ничего не было слышно. № 402, видимо, угадал его мысли и быстро отстучал:

— Я СООБЩУ, КОГДА БУДУТ ПОДХОДИТЬ. ЧЕМ БЫ ВЫ ЗАНЯЛИСЬ, ЕСЛИ БЫ ВАС ПОМИЛОВАЛИ?

Рубашов обдумал вопрос. Затем он отстучал:

— ЗАНЯЛСЯ БЫ АСТРОНОМИЕЙ.

— ХА-ХА!— выразил свои эмоции № 402.— МОЖЕТ БЫТЬ, И Я ТОЖЕ. ГОВОРЯТ, НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. МОЖНО ДАТЬ ВАМ СОВЕТ?

— РАЗУМЕЕТСЯ,— ответил Рубашов.

— ТОЛЬКО БЕЗ ОБИДЫ. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ СОЛДАТА. НАДО ОБЛЕГЧИТЬ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО. ДУХ БОДР, НО ПЛОТЬ СЛАБА. ХА-ХА!

Рубашов улыбнулся и послушно направился к параше. Затем он снова сел на койку и простучал:

— СПАСИБО. ПРЕКРАСНАЯ МЫСЛЬ. А КАКОВЫ ВАШИ ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ?

Несколько секунд № 402 молчал. Затем он отстучал медленнее, чем раньше:

— ЕЩЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ. НЕТ, ТОЛЬКО ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ.

Он помолчал и добавил:

— ЗАВИДУЮ ВАМ, ЧЕСТНО.

И затем, после новой паузы:

— ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ: ЕЩЕ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ НОЧЕЙ БЕЗ ЖЕНЩИНЫ.

Рубашов ничего не ответил. Затем он отстучал:

— НО ВЫ МОЖЕТЕ ЧИТАТЬ, УЧИТЬСЯ.

— ГОЛОВА НЕ ТА,— ответил № 402.

И вдруг он застучал громко и спешно:

— ИДУТ.

Он остановился и спустя несколько секунд добавил:

— ЖАЛЬ, ТАКАЯ ПРИЯТНАЯ БЫЛА БЕСЕДА.

Рубашов встал с койки. Он с минуту подумал и отстучал :

— ВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. СПАСИБО.

В замке заскрежетал ключ. Дверь распахнулась. Снаружи стояли верзила-конвоир и какой-то штатский. Штатский назвал Рубашова по имени, отчеству и фамилии и зачитал текст приговора. Пока Рубашову заламывали руки за спину и надевали наручники, он слышал, как № 402 торопливо стучал:

— ЗАВИДУЮ ВАМ. ЗАВИДУЮ ВАМ. ПРОЩАЙТЕ.

Когда Рубашов вышел в коридор, барабанная дробь возобновилась. Она сопровождала его до парикмахерской. Рубашов знал, что из всех камер заключенные глядят сквозь глазки — но он не поворачивал головы ни вправо, ни влево. Наручники врезались ему в запястья: верзила слишком туго их затянул, закручивая Рубашову руки за спину.

Рубашов увидел ступеньки, ведущие в подвал, и замедлил шаг. Человек в штатском остановился на верхней ступеньке. Он был маленького роста и пучеглаз. Он спросил:

— У вас есть какое-нибудь особое желание?

— Нет,— сказал Рубашов.

Он начал спускаться по лестнице в подвал. Человек в штатском остался наверху и глядел на Рубашова сверху вниз своими глазами навыкате.

Лестница была узкая и темная. Рубашову приходилось идти очень осторожно, чтобы не споткнуться, потому что держаться за перила он не мог. Барабанная дробь затихла. Он слышал, как человек в форме начал спускаться, держась в трех ступеньках от него.

Дальше началась винтовая лестница. Рубашов наклонился, чтобы лучше видеть. Пенсне соскользнуло у него с носа и упало на лестницу двумя ступеньками ниже, оно разбилось, и покатилось вниз, и осталось лежать на нижней ступеньке. Рубашов на секунду приостановился в нерешительности, затем, ощупывая ногой каждую ступеньку, двинулся дальше. Конвоир, шедший за ним, нагнулся, поднял пенсне и положил в карман. Рубашов это слышал, но головы не повернул.

Теперь он почти ничего не видел, но под ногами у него снова была ровная поверхность. Перед ним уходил вдаль длинный коридор; стены терялись в темноте, и конца коридора не было видно. Конвоир продолжал соблюдать дистанцию. Рубашов затылком чувствовал его взгляд, но головы не поворачивал. Он осторожно передвигал ноги.

Казалось, они идут по этому коридору уже несколько минут. Все еще ничего не случилось. Может быть, он услышит, как конвоир будет вынимать из кобуры револьвер? Так что пока у него есть время, он еще в безопасности. Или человек у него за спиной будет действовать, как зубной врач, который, склоняясь над пациентом, прячет щипцы в рукаве? Рубашов попытался думать о чем-нибудь другом, но не мог: ему приходилось напрягать всю силу воли, чтобы заставить себя не оборачиваться.

Странно, что в ту минуту, когда вокруг него сомкнулась благословенная тишина, совершенно прекратилась и зубная боль. Может быть, как раз в эту минуту раскрылся абсцесс в корне зуба. Что он им там сказал? "Я склоняю колени перед моей страной, перед рабоче-крестьянскими массами, перед всем народом". Ну, и что? Что происходит с этими массами и с этим народом? Сорок лет их ведут через пустыню, погоняя кнутом и приманивая пряником, запугивая вымышленными бедами и суля воображаемые награды. Но где Земля Обетованная?

Да и существует ли воистину эта светлая цель, к которой бредут кочевые племена человеческие? Как хотелось бы найти ответ на этот вопрос — найти прежде, чем будет уже слишком поздно! Моисею тоже не дано было войти в Землю Обетованную. Но ему дозволено было с горных вершин узреть эту землю распростертой у его ног. Легко умирать, когда перед глазами зримая и достижимая цель. А его, Николая Залмановича Рубашова, не вывели на вершину горы, и куда бы ни падал его взор, вокруг была лишь пустыня да смертная тьма.

Рубашова оглушил тупой удар по голове. Он давно уже этого ждал, но все же удар застиг его врасплох. Рубашов с изумлением почувствовал, что колени у него подгибаются, а тело медленно поворачивается вполоборота. "Как на сцене,— подумал Рубашов падая,— и, однако, я ничего не чувствую". Он скорчившись лежал на полу, прильнув щекой к холодным плитам. Стало темно, и морские волны, покачивая, уносили его куда-то в черную ночь. А сквозь него, как полосы тумана над водой, проплывали воспоминания.

Снаружи кто-то стучал в парадную дверь, ему снилось, что приходят его арестовывать, но в какой он сейчас стране? Он попытался попасть рукой в рукав халата. Но чей это портрет висит у него над кроватью и пристально глядит на него? Кто это — Первый или кто-то другой? Тот с иронической ухмылкой или тот со стеклянным взглядом?

Над Рубашовым склонилась какая-то расплывающаяся, бесформенная фигура. Он почувствовал запах свежей кожи, какой пахнет портупея. Но какие у этой фигуры знаки различия на рукавах и на воротнике? И во имя кого эта фигура поднимает черное дуло револьвера?

Второй сокрушающий удар обрушился Рубашову на уши. И все стало тихо. Снова послышались шорохи моря. Волна подхватила Рубашова и медленно подняла его. Волна вечности пришла издалека, слегка пожала плечами и невозмутимо покатилась дальше, в бесконечность.

* * *

Лия

ВЛАДИМИРОВА

"Как мимолетное виденье..."
Пушкин.

АРАБЕСКИ

1
Души встревоженной сонет!
Нестройных строчек сочетанья,
Мгновенных далей очертанья
Сквозь облака летящих лет...

Так мал, так короток просвет!
Но лишь на цыпочки привстань я —
О, первый взлет! О, трепетанье!
О, приближающийся цвет!..

И все затем, чтобы упасть
В объятья страха ледяного.
Забыть тебя, не знать другого,
И все отдать — и долг, и страсть,

И вывести рукой смиренной
Сонет разлуки и измены.

2

Сонет разлуки и измены...
Смешно, рискованно, грешно.
Тупым пером вскрывая вены,
Бескрыло билась об окно.
Что ж делать, если мне дано
Так мало и одновременно
Так много воли, много плена,
Так нужно все, так все равно?
Зачем я мучаю других?
Зачем, томясь о сокровенном,
Вконец ослабевает стих?
Но, может, в этот самый миг,
Когда он так беззвучно тих,
В природе зреют перемены.

3

В природе зреют перемены, —
А дни, как прежде, коротки,
Глядит зима из-под руки
Седа, задумчива, надменна.

И мы, смерзаясь постепенно,
Идем, задрав воротники...
Метет, метет по всей вселенной,
Прогнозам робким вопреки.

Седеют наши нетерпенья,—
Сутулость спин, усталость глаз,
В тепле одолевает нас
Полусонливое смиренье...

Закрыть окно, накинуть плед, —
Когда весны в помине нет.

4

Когда весны в помине нет —
Откуда ощущенье это,

Что вновь рождается Примета
Из тьмы таинственных примет?..

И будет твердь, и будет свет,
Земля — не старая планета,
Еще полуденное лето
Земных не отгуляло лет...

Так птица тянется из клетки,
Так в глубине замерзшей ветки
Теснится яблоневый цвет...

Водою полон синий след
К полуоттаявшей беседке,—
И рвемся, рвемся на просвет.

5

И рвемся, рвемся на просвет, —
Любви все возрасты покорны.
Ее порывы благотворны,
Как дым вчерашних сигарет.

Пишу ли, ставлю ли обед,
Стою ли в очереди вздорной, —
Душа летит к просторам горным,
И только тело — домосед.

И я с надеждою смущенной
Увы! — ловлю себя на том.
Что мне постыл и труд, и дом,
И радость выходок прощенных...

А сердце — на одно колено,
Во тьме обшаривая стены.

6

Во тьме обшаривая стены.
При впалом свете ночника,
Я не найду и паука,
Но паутину — непременно.

Здесь, с пожелтевшего лубка.
Глядит Прекрасная Елена,
Синеет комнатная Сена
Окаменелостью мазка…

А днем на кухне спорят бабы,
И чад, и привкус чеснока...
Занять деньжат, достать пивка бы,—
Гуляй, зеленая тоска!

А сырость каплет с гобелена,
И пахнет плесенью и тленом.

7

И пахнет плесенью и тленом
Морозный день, продрогший мох,
И пес, свернувшийся у ног,
И в печке звонкое полено...

Все дышит прелостью дорог.
Короткой прелестью нетленной, —
Уйти! Забыться постепенно!
Апрельский перейти порог!

Прогуливаясь, как во сне,
Ступают капли в тишине,
По крыше, пористой от снега…

И перечень обид и бед
Прикроет старомодной негой
Полузашторенный рассвет.

8

Полузашторенный рассвет
Проник лучом сквозь занавески,
На стенах чертит арабески
Амур, насмешливый сосед...

Весна вступает в новом блеске.
И что ей университет,
И всех премудростей довески —
Легчайшей прелести Джульет?

Когда, светла и первозданна,
Снега дыханием дробя,
Она оглядывалась странно,
Заглядываясь на себя?

И луч ловила в высоте,
И чью-то руку в темноте.

9

И чью-то руку в темноте
Я осторожно выпускала
В холодной суете вокзала,
В немноголюдной суете...

Как бы на призрачном холсте,
Ложились тени как попало,
И все чего-то не хватало,
И тесно там, в нетесноте...

Ах, если б фонари погасли
Иль разгорелись бы сильней!—
Чтоб вновь спросить — чрез столько дней:
Когда расстаться — не сейчас ли?

Чью память в зазеркальной стуже
Ищу — и нахожу свою же?..

10

Ищу — и нахожу свою же
Дорогу старую… Иду —
И утешаюсь на ходу,
Что ведь могло бы быть и хуже.

Так мы с надеждой слабой дружим
В оптимистическом чаду,
Как солнце, прыгаем по лужам,
Когда нет солнца на беду.

Гляжу, как дворник колет лед.
Гляжу, как утренний народ
По утренним кварталам кружит.

Скольжу назад, скольжу вперед.
Теряю лучший свой блокнот —
И плачу, как о милом муже.

11
И плачу, как о милом муже —
Былой мечте попав во власть.
А где-то там царевна тужит,
И волк грозит ее украсть;

Хоть сказка читана, но всласть
Сегодня мне опять послужит
Вот эта детская напасть —
Быть вечно не во всеоружье.

И пальчиком следя страницы,
Быть только девочкой с тобой,
И пунша пламень голубой
В беседе за полночь искрится.

Чего ж я плачу в простоте —
Как плачут женщины, как те?

12
Как плачут женщины, как те —
Чьих тайных слез мы не видали,
Чьи руки из туманной дали
Тянулись в дальней красоте...

На заколдованном листе
Их лица, может быть, встречали —
Когда нездешние печали
Теряли в здешней пустоте.

Бочком, неловко и с опаской
Смотрели, как на образа:
Миндалевидные глаза,
В губах губительная ласка...

Лишь тот находит в них спасенье,
В ком снова бродит хмель весенний.

13
В ком снова бродит хмель весенний,
Тому и стужа не страшна.
Случайный блик, глоток вина —
И каждый миг как воскресенье!

Душа усердствовать должна.
Душа не знает утомленья.
Вот это летоисчисленье —
Двенадцать месяцев -- весна!

Куда ни глянь, везде она,
С ее девчоночьей повадкой,
Своим рабочим беспорядком
До капельки просветлена.

Она насмешница, и рвенье,
И божество, и вдохновенье!

14
И божество, и вдохновенье
Тревожат нас — в который раз!
Уже бессонница вкруг глаз
Кладет предутренние тени...

А мы всё ждем: настанет час...
Подобно смерти промедленье,
Подобно смерти нетерпенье...
Все ждем, все ждем...Так ждали б нас!

Ах, если б светопревращенье,
И путаница, и смущенье!..
Мой современник и поэт.

Возьми перо, продолжи смело
Вот здесь, за этой строчкой белой —
Души встревоженной сонет.

15
Души встревоженной сонет,
Сонет разлуки и измены!

В природе зреют перемены,
Когда весны в помине нет.

И рвемся, рвемся на просвет,
Во тьме обшаривая стены,
И пахнет плесенью и тленом
Полузашторенный рассвет,

И чью-то руку в темноте
Ищу — и нахожу свою же.
И плачу, как о милом муже.
Как плачут женщины, как те—

В ком снова бродит хмель весенний,
И божество, и вдохновенье.

"Суд над поэзией блоковского периода еще впереди!"
Журнал "Молодая гвардия" о Лие Владимировой.

"Листая страницу за страницей "Тетрадь", будто бы погружаешься в какой-то странный мир, будто вообще исчезли добрые человеческие чувства, будто мир, освещенный солнцем, рухнул в тартарары, так много тут мрака, желчи, раздражения, страшных колдовских теней и надрыва... Русский язык коверкается и уродуется, как вздумается автору. Несомненный привкус черной магии, всяческих колдовских и приворотных слов в рукописи ощущаем в избытке.

"Сеешь доброе, сеятель вздорный,
Я ж привыкла ходить под бедой
Напои-ка меня этой черной,
Обжигающей, медной водой!"

Пить черную воду безнаказанно никому не позволено. Наша классика и Пастернака спрямила, так зачем, спрашивается, повторять уже знакомые и отвергнутые историей еретические ходы? Образ переделкинского мудреца незримо витает над всей "Тетрадью". Общеизвестно, что этим не шутят: каких духов вызываешь, такие и являются.

Вызывая голоса мертвецов, но не тех вечно живых наших покойников, а тех мертвецов, что умерли второй смертью, поэтесса занимается опасным своеволием. Последний суд над поэзией блоковского периода еще впереди".

(Из рецензии Г. Могилевцева, журнал "Молодая гвардия").

СТАРИК

В рыбачьем поселке, у плеса,
Где чаек разносится крик,
С понятливым псом остроносым
Живет незлобивый старик.

Раскинув нехитрые снасти,
Он ночку сидит напролет
И в стужу колотит на счастье
Над рыбьими тропами лед.

И трудно добытую прибыль —
Ершей, судаков и плотву —
Кадушку с мороженой рыбой
Везет он на рынок в Москву.

И дамы в осанке монаршей,
С печатью московской красы,
Его называют папашей.
Украдкой косясь на весы.

Откуда им знать, что когда-то,
В порядке предпринятых мер,
В глухом переулке Арбата
Был схвачен седой инженер,

Что был без суда измордован
В бессонном подземном плену.

Что к горьким соломенным вдовам
Еще приписали одну?

В забое, в торфянике зыбком
Шел месяц за месяцем вслед,
И вот объявили ошибкой
Семнадцать украденных лет.

Он вышел — нелепый, безвестный,
Свое отслуживший сполна.
Узнал он, что в царстве небесном
Свой срок отбывает жена,

Что в этом удушливом мире
Холодных, бездушных сердец
Он нужен, как нужен в квартире
Давно позабытый жилец.

И снова сановное барство
Его не пускает вперед,
И снова мое государство
Вины на себя не берет.

Пусть угол рыбацкого сруба,
Пусть гордого кормит река,
Товарищ, сжимаются губы,
Как вспомнишь того старика

И всех, кого тяжко и долго
Гноили в бессонных гробах...
Штормит, поднимается Волга,
На парусе вышел рыбак —

Он стар и не может иначе,
Он шапку ломать не привык.
Улова тебе и удачи,
Попутного ветра, старик!

Редьярд КИПЛИНГ

ПЕСНЯ ПИКТОВ

Рим идет вперед напролом,
Не глядит себе под ноги Рим,
Он нас топчет своим сапогом
И не слышит, как мы кричим.
Мы грозим ему из-за спины
И мечтаем во мраке ночей,
Что пойдем на осаду Стены
С кулаками против мечей.
Да, мы маленький, слабый народ,
Мы не в силах ни славить, ни клясть;
Но увидите — срок придет,
Свалим мы вашу гордую власть.
Мы — омела, что сушит дуб!
Мы — червяк, что вгрызается в гриб!
Мы — дупло, сверлящее зуб!
Мы — в пяту вонзившийся шип!
Моль в одежде дыру прогрызет,
Ржа раскрошит булатный меч,
Червь источит созревший плод —

Вам добро свое не сберечь.
Да, мы так же слабы, как они,
Незаметен и долог наш труд,
Но поверьте: настанут дни —
Ваши крепости вас не спасут.
Это верно, слабы мы сейчас,
Но другие народы сильны,
И мы их поведем на вас,
Чтоб спалить вас в огне войны.
Да, теперь мы только рабы,
И рабами мы будем опять,
Но мы вам сколотим гробы,
Чтоб на ваших могилах плясать!

МОЯ СОПЕРНИЦА

Я езжу в оперу, на бал —
Но это ни к чему.
Я все одна, и до меня
Нет дела никому.
Не мне, а только ей одной
Все фимиам кадят,
Затем, что мне семнадцать лет,
А ей — под пятьдесят.

Я то бледна, то вспыхну вдруг
До кончиков волос,
Краснеют щеки у меня,
А часто даже нос.
У ней же краски на лице
Где надо, там лежат:
Румянец прочен у того,
Кому под пятьдесят.

Я не могу себя подать,
Всегда я так скромна!
О, если б только я могла
Смеяться, как она,
И петь все то, что я хочу, —
Не то, что мне велят!

Но мне всего семнадцать лет,
А ей — под пятьдесят.

Вниманья молодых людей
Не привлекаю я,
А с ней танцуют те, кто ей
Годятся в сыновья.
Берем мы рикшу — лишь за ней
Любой побегать рад:
Ведь мне всего семнадцать лет,
А ей — под пятьдесят.

Своих любовников она
Мальчишками зовет,
Но к ней всегда мужчины льнут —
Ко мне никто не льнет.
И как бы ни оделась я
На бал, на маскарад,
Я все одна... Скорей бы мне
Уж было пятьдесят!

Она добра ко мне, но я
При ней в тени всегда.
Она с мужчинами меня
Знакомит иногда,
Но разговаривать со мной
Лишь старики хотят,
А молодые рвутся к ней —
Ведь ей под пятьдесят.

Но ей не вечно танцевать!
Года возьмут свое!
Толпы поклонников уже
Не будет у нее!
И отыграюсь я тогда,
Пленяя всех подряд:
Ей будет восемьдесят два,
А мне — под пятьдесят.

Перевел с английского
Георгий Бен

Михаил ТРОППЕР

АЛИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХИАТРИИ

Что такое эмиграция? На мой взгляд, это всегда эксперимент.Социальный, психологический, а иногда даже и клинический эксперимент, поставленный самой жизнью. Размышляешь на эту тему, и перед глазами встают десятки и сотни людей, с которыми беседовал, которым давал советы, которых приходилось и приходится лечить. Речь идет не только о психических больных (хотя, по представлению многих, они и есть прежде всего — пациенты психиатра). Нет, я имею в виду полностью здоровых людей, которые под влиянием изменений привычного уклада жизни оказались во власти психических стрессов.

Когда мы говорим о психологической адаптации эмигрантов, то, похоже, у каждого тут есть готовые, часто выстраданные ответы. Ответы эти всегда эмоциональны и всегда несут определенную субъективную окраску. Оттого, наверное, что эмиграция — это всегда "горячая точка", вокруг которой в любую минуту и в

любом месте может вспыхнуть спор. И тотчас слышатся голоса сочувствующие, осуждающие, возмущенные. Только безразличных нет.

Иной выглядит эта "горячая точка" в кабинете психиатра, куда больной приходит за врачебной помощью. Как его встретят в этом кабинете? С участием, готовностью выслушать и понять или, напротив, чисто формально? И с такой надеждой будет на вас смотреть этот больной. В его глазах психиатр — представитель могущественной медицины — столько может, что вы почти физически ощущаете груз возложенной на вас ответственности.

Положение психиатра — эмигранта еще более сложное. Будучи в том же состоянии, что и его пациент, подверженный тем же стрессам, он обязан неизменно выглядеть оптимистом, казаться всем в жизни довольным, ибо кто ж поверит внушению врача, у которого несчастный вид и в каждом слове которого сквозит неуверенность. Поистине в этой ситуации психиатр чем-то уподобляется актеру, который, похоронив любимого человека, назавтра уже выступает на сцене в веселой и безмятежной пьесе.

ЭПИДЕМИЯ ОТЪЕЗДА

...В кабинет входит приятная женщина. П*., 36 лет. Большие, красивые, но очень грустные глаза. Со вздохом опускается на стул: "Помогите, доктор, нет больше сил!" Родилась она в нормальной, не отягощенной наследственностью семье. Замужем. Имеет шестнадцатилетнюю дочь. "Понимаете, доктор, не сплю по ночам, без конца вижу кошмарные сны, будто бы дочь похитили. Стрельба. В страхе просыпаюсь от этих кошмаров. Смотрю: и муж не спит. Лежит. Курит...". Начинаю обычное в таких случаях обследование. Неврологический статус, пульс, артериальное давление... как будто все в порядке. Но отчего она столько говорит о настроении мужа? Прошу рассказать о нем подробнее, и вот что выясняется. По

---

* **По вполне понятным причинам, все инициалы в приведенных ниже выдержках из историй болезни изменены.**

специальности — он инженер. Последние 12 лет в России работал на руководящих постах, а в Израиле за два года после окончания ульпана сменил восемь мест. И ни одним не удовлетворен, все время ищет что-то лучшее, со всеми конфликтует. Дело дошло до того, что он начал настаивать на отъезде: "Или уезжаем вместе, или я уеду один!"

И вот уже новая беседа, но теперь уже не с ней, а с ним. Прошу его рассказать о прошлом, как и при каких обстоятельствах решил уехать в Израиль. Оказывается, это самый больной для него вопрос. Он просто не знает, что отвечать. Уехал, потому что ехали все: друзья, знакомые. Антисемитизма никогда не ощущал. Гнета режима тоже. Началось все с того, что стал получать из Израиля письма, от приятеля, который хорошо в стране устроился. Вот так и запала впервые мысль об отъезде.

— Ну, а еще что-то было? Какие-нибудь иные побуждения? Нет, больше ничего.

Совсем не случайно я вспомнил этот случай, проливающий свет на одну из самых острых проблем алии,— проблему мотивации отъезда. Сколько людей, движимых туманными иллюзиями разбогатеть, покинуло Россию, иллюзиями, навеянными рекламными западными фильмами. Что же на самом деле представляет собой Запад, они не имели ни малейшего представления. Не знали они, что свободный мир не только многое дает человеку, но и многое от него требует. Требует инициативы, энергии, способности к борьбе за существование.

А ведь чем глубже мотивация отъезда, тем легче переносятся трудности интеграции. Тяжелее всего оказывается тем, кто уезжал, не выстрадав этого шага, а оставлял насиженные места только потому, что так делали другие, поддавшись всеобщей эпидемии.*

Человечеству известно немало психических эпидемий, таких, например, как "Пляска святого Витта" в XIV веке, когда тысячные толпы людей бесновато дергались

---

* По-видимому, это явление обусловлено действием так называемого механизма суггестии, то есть когда одни люди "заражаются" недостаточно созревшими мыслями других.

на улицах. Известны эпидемии массового оцепенения. Расстройства сознания, связанные с внушением, возникали у монахинь, уродовавших свою психику непосильными постами и молитвами. Психические эпидемии много раз возникали в Канаде, Европе, Китае. По-видимому, подобные явления мы наблюдали и в последние годы во время массовой эмиграции из СССР.

ЯЗЫК И ДЕПРЕССИЯ

"Незнание иврита ужасно подавляет меня... Сижу на совещаниях и молчу, как осел, потупив глаза. Не понимаю, о чем говорят... Если даже разбираю отдельные слова, то сомневаюсь, правильно ли я их понял. Все время я скован и напряжен... Сторонюсь людей. Их общество действует подавляюще. Жду конца работы, чтобы скорее вернуться домой".

(Л. служащий 50 лет)

"Я полтора года в стране, и ни разу не удалось сходить в кино, понять содержание хотя бы одного фильма... Титры на иврите не успеваю прочесть, а, кроме русского языка, никакого другого не знаю. Ни кино, ни театра, ни эстрады! А ведь я всю жизнь страстно любила искусство".

(Бывшая учительница, ныне бухгалтер, 45 лет)

"Я три года в стране и... не знаю языка. Не могу его учить. Голова не лежит к этому. Читаю одну газету на русском языке. Конечно, не хватает... Конечно, плохо... Откуда же будет настроение?!"

(Кассир, 53 года)

Я привел несколько выдержек из историй болезни людей, страдавших различными психопатологическими синдромами, от легких невротических до глубоких депрессивных состояний.

И среди прочих факторов, влиявших на развитие болезни, отсутствие или ограничение общения из-за незнания языка играло едва ли не самую существенную роль. При такой искусственной языковой изоляции (непонимание языка радио, телевидения, прессы, театров, официальных документов, невозможность

общения в учреждениях) еще острее человек чувствует свою принадлежность к таким же "безъязыким", как и он сам. И таким образом люди замыкаются в микрогруппы, изолированные от большинства населения.

Эмоциональный климат в такой изолированной микрогруппе, как правило, со знаком минус — здесь неизбежно происходит отрицательное взаимовлияние депрессивно настроенных людей друг на друга. У них снижается настроение, они теряют инициативность, быстрее других оказываются во власти ностальгии.

В одном из геронтологических центров мне пришлось консультировать такой клинический случай: в отделение, где проживали люди, владевшие тремя-четырьмя языками (идиш, немецкий, румынский и венгерский), поступил пожилой репатриант, выходец из среднеазиатской республики Советского Союза. Человек 72 лет, относительно хорошего здоровья, без каких-либо психических нарушений, однако не знавший никаких языков, кроме своего родного. Несмотря на отличное питание, чудесный воздух, квалифицированное медицинское обслуживание, его настроение ухудшалось изо дня в день. Буквально в течение месяца невозможность общения привела его в состояние полной клинической депрессии.

После того, как его перевели в другое отделение, где находилось несколько человек, с которыми он мог общаться на своем родном языке, состояние больного быстро нормализовалось. Случай этот, сам по себе весьма поучительный, является как бы моделью депрессии, возникшей вследствие языковой изоляции.

Будем откровенны: в незнании языка в Израиле некого винить, кроме самих себя. В стране широкая сеть ульпанов, обилие учебных пособий и словарей, демонстрируются учебные программы по телевидению... И все же язык сам собой не приходит, нужны усилия и воля.

Мне приходилось наблюдать репатриантов, возмущенных тем, что некоторые работники, разговаривавшие с ними только на иврите, оставаясь наедине со своими сослуживцами, непринужденно болтали на идиш, польском или румынском. Мои больные называли этих людей садистами, издевавшимися над ними. Вероятно, черты садизма и на самом деле присущи иным из чиновников, но тут куда важнее объективный смысл этого, быть может, жестокого требования: "Говори только на иврите, иначе никогда не овладеешь им".

Я врач и меньше всего хотел бы заниматься проповедями. Мои аргументы — это истории болезней моих пациентов, но уж коль скоро речь зашла о важности иврита, я бы хотел привести слова человека, не являющегося пациентом, а просто моего хорошего знакомого:

"Языком я занимался с самого начала, по 16 часов в день. И практически освоил его за полтора года. Честно говоря, стремлюсь меньше общаться с олимами. Их беспрерывное нытье делает меня просто больным. Мои лучшие друзья — ватики. Общаемся на равных. За два года я почти полностью освоился в стране ".

(Инженер, 34 года)

ТЯЖЕЛАЯ ЛЕСТНИЦА АБСОРБЦИИ

Вспомните, сколько раз за время пребывания в стране у вас менялось настроение. С каким чувством восторга вы в первый раз вышли на залитую солнцем израильскую улицу — казалось, нет на свете человека более счастливого, чем вы. Но вот прошло несколько месяцев, и вас стала охватывать трудно объяснимая тревога, и даже начал закрадываться в душу червь сомнения — не является ли ваш отъезд трагической, непоправимой ошибкой. Эти смены настроений вам кажутся спонтанными, трудно объяснимыми. На самом же деле существуют определенные стадии психологической адаптации, через которые проходит едва ли не каждый репатриант. Впрочем, "проходит" — это, пожалуй, не то слово. Человек карабкается по тяжелой лестнице абсорбции, испытывая на себе влияние различных стрессов, иногда с трудом преодолевая ступень за ступенью.

Первая стадия — восторженно-оптимистическая. Настроение человека окрашено светлыми мажорными тонами, он полон интереса к окружающему, готов восхищаться всем увиденным. Наблюдается стремление к общению (даже при незнании языка!), повышенный аппетит. Этот период продолжается два-два с половиной месяца и для лиц, обучающихся в ульпане, как правило, завершается к середине обучения.

Далее — так называемая стадия тревожного ожидания. Люди лишаются покоя и фактически перестают заниматься в ульпане языком. Становятся нервными, раздражительными, тревожными. Подобно губке, лихорадочно впитывают все "новости с биржи труда". Их настроение постоянно колеблется: то спады, то подъемы... Возникает своеобразный синдром, близкий к неврозу тревожного ожидания. Я наблюдал симптомы этого невроза в двух ульпанах. Класс, активно работавший над изучением языка, фактически распался: из 25-30 учащихся на занятиях теперь присутствовало не более 10-12. Лишившись покоя, большая часть класса колесила по стране в поисках работы, хотя времени до окончания ульпана оставалось более чем достаточно. И даже у оставшихся в ульпане внимание было рассеянным. Люди отвлекались, глядели больше в окна, нежели на классную доску. Стоило кому-то из отправившихся на поиски работы вернуться, как весь класс высыпал в коридор и забрасывал его вопросами. И, в зависимости от успеха или неуспеха его "миссии", мгновенно менялось настроение едва ли не у всех — настолько велика была внушаемость и настолько все были охвачены желанием прогнозировать на примере товарища свое собственное будущее. Продолжительность этой стадии примерно с третьего до седьмого месяца пребывания в стране.

Третья стадия — психологической конфронтации или начальной неустойчивой интеграции. По времени она обычно совпадает с началом работы репатрианта. Чаще всего эта работа временная и финансируемая из фондов Министерства абсорбции. Притом

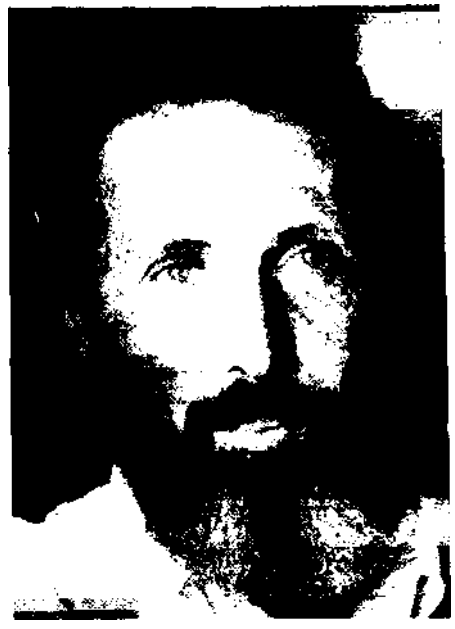
как правило, человек идет на должность, более низкую, чем та, что он занимал до приезда в страну. На новом месте он часто испытывает недоверие со стороны окружающих, сомнение в его способностях и квалификации, а иногда и открытое недружелюбие, вызванное боязнью конкуренции. Это — наиболее трудный период психологической адаптации. Именно в это время на человека обрушивается масса забот, связанных с устройством в стране. Бесконечные хлопоты по получению квартиры, хождения по многочисленным учреждениям, собирание и оформление документов, которые трудно прочесть и еще труднее понять. Именно в это время возникают неприятные конфронтации со старожилами. Даже на их безобидные замечания часто следуют совершенно неадекватные реакции. На каждом шагу человек проявляет повышенную нервозность, подозрительность, повсюду ему чудится зависть окружающих в связи с предоставляемыми ему льготами. Обостряются отношения с выходцами из своей же страны, которые прибыли раньше и успели уже адаптироваться. Даже с родственниками, прибывшими в страну много десятилетий назад, у репатрианта становятся теперь натянутые отношения.

Именно в это время человек все чаще прибегает к помощи врача, в первую очередь интерниста. Первоначальные жалобы довольно типичны: бессонница, головные боли, раздражительность, боли и неприятные ощущения в области сердца, повышенная утомляемость, ослабление памяти, угрюмость, колебания артериального давления с головокружениями, расстройства сексуальной сферы не только у мужчин, но и у женщин. Как раз в этот период люди чаще всего начинают задавать себе вопрос: "А верно ли я поступил, что приехал сюда? Разумно ли было ломать хорошо налаженную жизнь? Чего я там не имел? Ради чего все бросил?" Возникают мучительные сомнения: что делать дальше — оставаться в стране или покинуть ее? Этот период дает наибольшее число йордим — и чаще всего это лица, приехавшие в страну без достаточной мотивации.

И все же, если обратиться к статистике, то большинство репатриантов преодолевает и эту стадию (хотя именно здесь наиболее велики потери) и движется навстречу следующей. Следующая носит название "деидентификации или умеренной интеграции". В этот период отмечается своеобразная "гонка", соперничество в том, кто больше преуспеет в стране,— репатрианты, более или менее твердо осевшие, пытаются "догнать" тех, кто приехал раньше. Именно в этот период большая часть олим перестает читать газеты на русском языке (или, по крайней мере, резко ограничивает их чтение) и старается перейти на иврит. С этого времени люди перестают (вначале бессознательно) отождествлять себя со страной своего исхода, стараются отойти от ее языка, культуры, стереотипов мышления. Эта стадия обычно начинается через два - два с половиной года после прибытия в страну и завершается примерно через четыре года.

И, наконец, последняя, пятая стадия — полной идентификации или заключительной интеграции репатрианта. С этого времени человек начинает уже полностью отождествлять себя со страной и ее народом. В его жизни появляется новая система ценностей. Полностью овладев разговорным языком, он свободно общается со старожилами и даже устанавливает со многими из них тесные, дружеские отношения. К этому времени практически решена жилищная проблема, найден оптимальный, с учетом реальности, вариант трудоустройства. Можно считать, что к концу этого периода, то есть примерно через пять лет после приезда, человек преодолевает стресс психологической адаптации. Теперь он, как правило, уже перестает называть себя оле и даже как бы стесняется этого слова. И вместе с ним стремится вытеснить из сознания все, что было связано с процессом адаптации, все субъективные и объективные трудности, которые сопровождали этот процесс.

Окончание в следующем номере.



Борис Орлов

МИФ О ФАННИ КАПЛАН

"Не ищите в деле обвинительных улик в том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, каково его образование и какова его профессия. Эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого".

М. Лацис, "Красный террор", 1 ноября 1918 г.

1. КОЩУНСТВЕННЫЙ ВОПРОС

В этот день, как обычно по пятницам, в городе проводились митинги. В шестнадцати районах и подрайонах столицы перед уставшими от дневного труда и много-

летнего недоедания рабочими и просто перед разношерстным городским людом выступали девять наиболее популярных деятелей Партии. На исходе первого года революции Партия правила одна. Оппонентов на митингах не предвиделось. Все ораторы выступали на одну, еще утром объявленную газетой тему. На двух собраниях ожидался Вождь революции: почитаемый друзьями, уважаемый врагами, обожествляемый толпой.

Отговорив положенное ему время, Вождь двинулся к выходу, сопровождаемый аплодисментами и толпой слушателей. Некоторые из малосознательных задавали каверзные в своей неприкрытой наготе вопросы: "Почему муку не дают провозить? Для чего на станции полтора пуда хлеба отобрали?" Знакомой скороговоркой Вождь пообещал исправить имеющиеся недостатки и закончил доступным народу лозунгом: "У нас один выход: победа или смерть!"

А смерть ждала его уже у выхода, притаившись в толпе, окружившей автомобиль. В полутемном заводском дворе раздались выстрелы, и Вождь упал. Толпа бросилась врассыпную, оставив раненого, а может и убитого Вождя лежать на грязной мостовой. Двор быстро опустел.

Шофер помог раненому подняться и, усадив его в машину, погнал автомобиль по плохо освещенным улицам огромного города, затаившегося в предчувствии великой беды.

Раненый был бледен и тихо постанывал, сползая с кожаных подушек автомобильного сиденья.

Напуганные стрельбой люди разбегались в разные стороны. Крикнуть вдогонку бегущим: "Держите убийцу!" — догадался лишь один человек, военный комиссар, случайно попавший на митинг. Он помчался вслед за ними без особой надежды кого-нибудь поймать.

Комиссар пробежал несколько кварталов, когда неожиданно под деревом увидел стоящую женщину. Она не бежала и тем отличалась от толпы. Великий классовый инстинкт подсказал комиссару: женщину необходимо задержать. Он обыскал ее тут же на месте и не нашел ничего подозрительного, кроме портфеля и зонтика. Доказательств причастности ее к покушению не было никаких. И все же, повинуясь тому же классовому чутью, комиссар предложил женщине следовать за собой.

Бегущие к этому времени остановились, и кто-то крикнул, что он узнает задержанную. Конечно, это стреляла она! Люди, бросившие раненого Вождя, требовали немедленной расправы над задержанной. Добровольная охрана спасла ее от самосуда толпы и передала в руки ВЧК.

Такова внешняя канва событий 30 августа 1918 года. Через несколько дней в газете появилось краткое сообщение, помещенное под общим заголовком: "Белый террор": "Вчера, по постановлению ВЧК, расстреляна стрелявшая в тов. Ленина правая эсерка Фанни Ройд /она же Каплан/".*

Отныне и навсегда прикипело к биографии Вождя революции имя эсерки-террористки Фанни Каплан. Другого эпитета ни современники, ни историки не придумали. Имя Каплан с такой силой вбито в совершившееся, что отделить его, кажется, нет никакой возможности.

Никому в голову не пришла до сих пор мысль проанализировать протоколы допроса Фанни Каплан и немногих, допрошенных свидетелей. Эти документы по необъяснимой случайности были опубликованы в давно забытом журнале 50 лет назад. И уж тем более никто не дал себе труда сопоставить эти документы с немногочисленными воспоминаниями очевидцев, украсивших неувиденное вымышленными подробностями. Сложившаяся версия оказалась настолько устойчивой, что кощунственным выглядит вопрос:

Почему вы так уверены, что Фанни Каплан стреляла в Ленина в тот августовский вечер 1918 года? Ведь самое поверхностное знакомство с документами показывает,

---

* "Известия ВЦИК", №190,4 сентября 1918 года, стр.5

насколько они противоречивы и не дают однозначного ответа на вопрос о ее виновности.

В твердой надежде выяснить истину и предлагается настоящее исследование.

II. КОГДА ПРОЗВУЧАЛИ ВЫСТРЕЛЫ?

Поступим так, как поступают в юридической практике в обычном уголовном деле, когда совершено преступление и подробности его не ясны. Начнем с обстоятельств покушения, подлежащих выяснению. Определим прежде всего время, место, способ совершения преступления. Установим личность покушавшегося, мотивы покушения, возможности и способы его выполнения.

Оказывается, время покушения никогда не было точно определено. Более того, расхождение во времени достигает нескольких часов.

Опубликованное в "Правде" обращение Моссовета утверждало, что покушение произошло в 7 часов 30 минут вечера.* Однако хроника той же газеты сообщила, что это событие имело место около 9 часов вечера.

Существенные изменения во времени вносит шофер Ленина С. Гиль, человек весьма пунктуальный и один из немногих достоверных свидетелей. В своих показаниях, данных 30 августа, Гиль заявил: "Я приехал с Лениным около 10 часов вечера на завод Михельсона".**

Речь Ленина на митинге, по мнению Гиля, длилась около часа.Иными словами, покушение могло быть совершено не раньше 10 часов, а скорее, около 11 часов вечера, когда окончательно стемнело и наступила ночь. По-видимому, показания Гиля ближе всего к достоверности, ибо протокол первого допроса Фанни Каплан

---

* Это время указано во многих работах, например, в "Истории гражданской войны в СССР", М., 1958, т. Ш, стр. 365.

* * "Пролетарская революция" /в дальнейшем: "Прол. революция"/, 1923, №6-7, стр. 277.

имеет четкую запись — 11 часов 30 минут вечера. Если считать, что задержание Каплан и доставка ее в ближайший военный комиссариат, где начались допросы, заняли 30-40 минут, то время, указанное Гилем, следует считать наиболее правильным. Трудно предположить, что подозреваемая в покушении Каплан в течение более чем трех часов оставалась не допрошенной, в том случае, если покушение было совершено в 7 ч. 30 мин. вечера. Во всяком случае, Я. Свердлов подписал обращение ВЦИК только в 1 час 40 минут ночи.

В пользу позднего часа покушения говорит и то обстоятельство, что митинг на заводе Михельсона был не первым, на котором выступал Ленин. До этого он побывал в противоположном конце Москвы, в Басманном районе на митинге в здании Хлебной биржи. Там выступало несколько ораторов, и речь Ленина продолжалась от получаса до часа. Дорога из одного конца Москвы в другой должна была занять не меньше часа.

По-видимому, сдвиг во времени покушения в более светлую часть дня совершенно сознательно проделал в своих воспоминаниях Вл. Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома.* Его воспоминания, ставшие основой хрестоматийного рассказа о покушении на Ленина, упрекали в момент их появления в неточностях и недомолвках, введении вставок и подробностей, которые автор помнить не мог. * *

Бонч-Бруевич уверяет, что узнал о покушении в 6 часов вечера, когда вернулся домой с работы на маленький перерыв. Подобная композиция понадобилась ему для создания фальшивой картины задержания Каплан при свете дня с добавлением явно вымышленных деталей. В книгу введен так называемый "рассказ шофе-

---

*Вл. Бонч-Бруевич, Покушение на В.И. Ленина в Москве 30 авг. 1918 г., М., 1923; Три покушения на Ленина, изд. "Федерация", М., 1930.

*"Прол. революция", 1924, №3/26/, стр. 266 - 268.

ра Гиля", сообщенный будто бы лично автору. Это придает воспоминаниям необходимую достоверность. На них неизменно ссылаются советские и западные историки. Между тем "рассказ шофера" противоречит собственным показаниям Гиля. Он не мог видеть то, что произошло после покушения, то есть эпизод задержания Каплан, так как находился возле раненого Ленина, а затем отвозил его в Кремль. Связанные с этим эпизодом подробности сочинены Бонч-Бруевичем и приставлены непосредственно к "рассказу Гиля" для вящей убедительности.

III." Я ВИДЕЛ ЖЕНСКУЮ РУКУ С БРАУНИНГОМ..."

После окончания митинга Ленин вышел во двор завода, продолжая беседу со слушателями и отвечая на их вопросы. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, со ссылкой на шофера Гиля, последний сидел за рулем и смотрел, вполуоборот назад, на подходившего Ленина. Услышав выстрел, он моментально повернул голову и увидел женщину с левой стороны машины у переднего крыла, целившуюся в спину Ленина. Затем раздались еще два выстрела, и Ленин упал.

Эта картина легла в основу всех исторических работ и была воспроизведена в классической сцене покушения в кинофильме "Ленин в 1918 году": женщина-брюнетка с еврейской внешностью целится из револьвера в спину Вождя русской революции.

Как же было в действительности?

На допросе Гиль показал: "Когда Ленин был уже в расстоянии трех шагов от автомобиля, я увидел, что сбоку, с левой стороны от него, в расстоянии не больше трех шагов, протянувшуюся из-за нескольких человек женскую руку с браунингом, и были произведены 3 выстрела, после которых я бросился в ту сторону, откуда стреляли..." *

*"Прол. революция", стр. 277 - 278.

Таким образом, единственный свидетель Гиль не видел человека, стрелявшего в Ленина, а заметил только протянутую женскую руку. Напомним, что все происходило ночью, и видеть он мог действительно на расстоянии не больше трех шагов от машины. Может быть, Гиль оговорился? Это предположение следует отбросить. Наблюдательный шофер внес в протокол важную поправку: "Поправляюсь: после первого выстрела я заметил женскую руку с браунингом". Сомнений быть не может — Гиль стрелявшую не видел, и вся описанная у Бонч-Бруевича сцена, ставшая канонической, выдумана.

Возможно, лицо, стрелявшее в Ленина, могло быть опознано человеком, задержавшим впоследствии Каплан? Это предположение опровергается показаниями комиссара С. Батулина, который через некоторое время после покушения задержал Ф. Каплан. В момент выхода Ленина с завода Батулин находился от него на расстоянии 10-15 шагов. Позднее он поправился, указав, что был еще дальше — в 15-20 шагах. Батулин показал: "Подойдя к автомобилю, на котором должен был уехать тов. Ленин, я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до этого спокойно стоявшую у автомобиля, разбегавшуюся в разные стороны, и увидел позади кареты-автомобиля тов.Ленина, неподвижно лежавшего лицом к земле. Я понял, что на жизнь тов.Ленина было произведено покушение. Человека, стрелявшего в тов.Ленина, я не видел"*

Таким образом, следует считать установленным факт, что ни один из допрошенных свидетелей, присутствовавших на месте покушения, стрелявшего в Ленина человека не видел в лицо и опознать Фанни Каплан как виновную в покушении не мог.

"Прол. революция", стр. 279 - 280.

IV. ПОГОНЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Между тем события после выстрелов развивались следующим образом. Толпа начала разбегаться. Гиль бросился в ту сторону, откуда стреляли. Отметим — не к конкретному лицу, а в сторону выстрелов.

"...Стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе", — показывает Гиль, уверенный, что стреляла именно женщина, так как он видел женскую руку. Других подробностей он не сообщает.У Бонч-Бруевича этот эпизод выглядит несравненно красочнее. Шофер целится из нагана женщине в голову, но она, кинув браунинг, бросается в толпу по направлению к выходу. Осторожный Гиль не решается выстрелить ей вдогонку, опасаясь убить в толпе кого-либо из рабочих. Он пробегает несколько шагов, затем, повинуясь долгу, возвращается к Ленину. Толпа бросилась бежать, образовалась сильная давка. Битком набитый двор опустел, и стрелявшая женщина скрылась в толпе.

Любопытна судьба брошенного оружия. "При мне, — утверждает Гиль, — револьвера этого никто не поднял". Только по дороге один из двух человек, сопровождавших раненого Ленина, объяснил Гилю: "Я подтолкнул его ногой под автомобиль".

Дальнейшая судьба револьвера неизвестна. На допросах его Каплан не предъявляли, и в качестве вещественного доказательства он на следствии не фигурировал. Среди вопросов, предложенных Каплан по поводу найденных у нее вещей /бумаги и деньги в сумочке, железнодорожные билеты и т. д./, только один имел отношение к орудию покушения. Видимо, допрашивавший Фанни Каплан председатель московского Ревтрибунала А. Дьяконов не имел револьвера в руках. Он спросил лишь о системе оружия, на что Каплан ответила: "Из какого револьвера я стреляла, не скажу, я не хотела бы говорить подробности" *

*"Прол. революция", стр. 282.

Очевидно, если бы револьвер лежал перед Дьяконовым и Каплан на столе, ответ Фанни о нежелании входить в подробности выглядел бы по меньшей мере нелепым.

Пока исчезнувшее вещественное доказательство заталкивали ногой под автомобиль, очевидец покушения С. Батулин закричал не растерявшись: "Держи, лови!" Позднее, в письменных показаниях, присланных на Лубянку 5 сентября 1918 г., Батулин деликатно поправляет свой базарный крик политически более грамотным возгласом: "Держите убийцу тов. Ленина". С этим криком он и выбежал с заводского двора на Серпуховскую улицу. По ней группами и в одиночку бежали в различных направлениях перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди. Батулин поясняет, что своими криками он хотел остановить тех людей, которые видели, как Каплан стреляла в Ленина, и привлечь их к погоне за преступником. Судя по всему, никто не внял крикам Батулина и не выразил желания помочь ему в розысках убийцы. Подобная безучастность рабочей массы для создателей легенды об убийце Каплан была невыносимой. Поэтому и появляются на свет Божий у Бонч-Бруевича ребятишки, бывшие во дворе во время покушения, которые будто бы "гурьбой бежали за стрелявшей и кричали: "Вот она! Вот она!"* В газете, посвященной пятилетию со дня покушения, те же бдительные советские ребятишки отправляются уже играть на улицу, они помогают рабочему Иванову напасть на след убегавшей Каплан.

Однако Батулин, дважды представивший свои показания, никаких ребятишек в глаза не видел. Да и что было делать "детишкам" в мрачный и холодный осенний вечер на темной улице? У нас нет точных данных о погоде, скорее всего, небо было обложено осенними тучами, и, вероятно, накрапывал надоедливый мелкий дождь. Известно, что Ленин, уезжая на митинг, взял с собой пальто. В руках Каплан при задержании был

*Бонч-Бруевич, Покушение на Ленина, 1923, стр. 32-33.

зонтик, а вышедший через сутки после покушения из здания ЧК на Лубянке английский дипломат Брюс Локкарт запомнил, что утром в этот день шел дождь.

Выдумка о бдительных детях до сих пор украшает страницы сентиментально-поучительных детских рассказов о Ленине.

Добежав от завода до трамвайной остановки на Серпуховской улице, С. Батулин остановился, так как ничего подозрительного и достойного преследования впереди себя не увидел. Лишь после этого он заметил позади себя около дерева женщину с портфелем и зонтиком в руках, своим странным видом остановившую его внимание. Комиссар дважды повторяет запомнившуюся ему деталь: он увидел женщину не бегущую впереди, а стоящую позади него /в показаниях 30 августа/. Он ее не догонял, и она не могла обогнать Батулина и прибежать первой или следовать за ним и внезапно остановиться. В эти короткие мгновения напряженного внимания он неминуемо заметил бы бегущую с нелепым зонтиком фигуру, пытающуюся спрятаться под деревом. К тому же женская одежда 1918 года, с длинным до пят платьем, вряд ли позволяла женщине бежать так же быстро, как бежал мужчина.

Добавим, что в эти минуты не только бегать, но и ходить, как выяснилось чуть позже, Каплан было трудно, так как у нее в ботинках были гвозди, мучившие ее при ходьбе. Одной из первых просьб, с которой Фанни Каплан обратилась к солдатам в военном комиссариате после задержания была просьба дать ей что-нибудь, чтобы подложить в ботинки и смягчить боль от гвоздей. Ей дали какие-то бумажки, найденные позже и предъявленные Каплан на допросе.

Не остается ничего другого, как предположить, что Фанни Каплан вообще никуда не бежала. Она просто стояла все время на одном месте, на Серпуховской улице, на достаточно далеком расстоянии от заводского двора, где раздались выстрелы. Это и была та странность, так поразившая Батулина. "Она имела вид человека,

спасающегося от преследования, запуганного и затравленного", — заключает он.*

Каплан никто не преследовал. Она лишь "ИМЕЛА ВИД" преследуемого человека. Ее никто не травил, но она была похожа на затравленную.

Для нас это не просто подтверждение иного, резко отличного от полвека вбиваемого представления о поведении якобы бегущей Фанни Каплан. Это психологическая характеристика, мимо которой равнодушно проходили глаза историков. Впрочем, не будем говорить о равнодушии. Притягательная сила мифа так велика, что даже серьезный биограф Ленина Давид Шуб позволил себе украсить легенду о Фанни Каплан, казалось бы, важной, но, увы, вымышленной деталью. По его словам, Каплан в момент задержания стояла, прислонившись к дереву, и "тяжело дышала".* *Ясно, что тяжелое дыхание появляется у человека после быстрого бега. Версия бегства Каплан от погони приобретает тем самым вполне осязаемую наглядность. Эта подробность никогда и никем не была подтверждена и в показаниях свидетелей отсутствует.

Окончание в следующем номере.

* "Прол. революция", стр.280.

* David Shub, Lenin, N.Y., 1948, p. 322.

Наталия РУБИНШТЕЙН

ВЫКЛЮЧИТЕ МАГНИТОФОН - ПОГОВОРИМ О ПОЭТЕ

ГАЛИЧ В ИЗРАИЛЕ! Со сцены видит он перед собой — нет, не новую, а старую, свою аудиторию. Такой не встретит он более нигде.

Евреи пришли слушать еврея? Да! Бывшие граждане Советской России пришли слушать русского поэта в изгнании.

Галич — это псевдоним. Образован он соединением звуков, взятых из разных слогов имени, отчества и фамилии — Гинзбург Александр Аркадьевич.

Выбор псевдонима — дело ответственное. Когда в двадцатые годы Вениамин Александрович Зильбер стал подписывать свои рассказы и повести именем знаменитого повесы пушкинского времени Каверина — он заявлял о своем праве на участие в русской культурной традиции и рассчитывал, что читателями (хотя бы некоторыми) это заявление — в период крушения всех традиций — будет принято во внимание. Если в начале творческого пути писатель называет себя не Горьким, не Бедным и не Голодным — это значит, что от рождения он не Безыменский. У него есть имя, родовое и культурное, есть дом,

из которого он, может быть, вынужден уйти, но позабыть который не в силах.

Галич — это слово не впервые встречается на страницах русской истории и культуры. Галич — это древний город на южной окраине России, Галич — так звали лицейского учителя, преподававшего словесность Пушкину. Доброжелательная муза Пушкина не обошла его молчанием. "Мой добрый Галич, vale!" — приветствует его Пушкин латинским пожеланием здоровья, тем самым словом, которое любил поставить в конце письма Евгений Онегин.

Избранное имя бывает иногда истинней природного. Родина поэта Галича — русская культура. Эту Родину нельзя покинуть, и она не оставит поэта. Из этого родового гнезда, по счастью, невозможно выпасть.

"ВОТ УЖЕ ДОБРЫЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ мы слушаем и поем песни Александра Аркадьевича Галича" — так начинается предисловие к книге стихов "Поколение обреченных".* ... Верно! И поем, и слушаем. Под коньяк. И под водку. В компании. В пригородном вагоне. У туристской палатки. Но автор что-то не больно счастлив:

Не причастный к искусству,
Не допущенный в храм,
Я пою под закуску
И две тысячи грамм...
...Спину вялую сгорбя,
Я ж не просто, хулу,
Я гражданские скорби
Сервирую к столу...

Уберите со стола. Выключите магнитофон. Галич — поэт. Откроем книгу. Поговорим о поэте.

В середине XX ("жуткого", по выражению Галича) столетия в индустриальной и коммунистической России вдруг воскресла средневековая традиция трубадуров и менестрелей. Махнув рукой на типографские станки, поэты поручили движение слова гитарной струне — и слово обошло всю страну. У каждого из популярных советских бардов были свои причины соединить стих с напевом. Но даже тогда, когда Окуджава, Матвеева, Высоцкий осуществили свое право на книжку и пластинку

* А. Галич, Поколение обреченных, Франкфурт-на-Майне, "Посев", 1972 г.

(каким бы куцым это право ни оказалось при реализации) — песня Галича продолжала свой путь, перематывало» с магнитофона на магнитофон, минуя художественные советы и комиссии главлита. О Галиче даже не было фельетонов, как, например, об Окуджаве. Газеты не объявляли его клеветником. Его как бы просто не было. Назвать его, признать, что его баллада-песня существует, процитировать хоть две строки — значило проиграть ему. В России фигурой умолчания отделываются от самых гнойных болячек — от еврейского вопроса, от Солженицына, от тюремного и лагерного прошлого, от голода и даже от авиационных катастроф и стихийных бедствий.

Лет пятнадцать вся страна пела песни Галича, а критика не посвятила ему ни строки. Тем больше оснований серьезно и по достоинству оценить его поэзию здесь.

"ВОТ СТОИТ ОН ПЕРЕД НАМИ ТОЧНО ГОЛЕНЬКИЙ..."

ЗАСЛУГА ГАЛИЧА в истории русской литературы велика и соизмерима с художественной заслугой Некрасова. Подобно тому как Некрасов предпринял прозаизацию русской поэзии, расширил ее горизонт, обогатил ее всем опытом, который к тому времени накопила русская проза, — Галич сделал сегодня достоянием русской поэзии художественный метод Булгакова и Зощенко. Мы вольны нынче как угодно относиться к лирике Некрасова, но нельзя забыть, что без его уроков невозможны были бы ни Блок, ни Пастернак. Некрасов — и в этом Галич сходствует с ним — повысил цену "сиюминутного" в лирике, усилил роль сюжета в поэзии, роль героя — не пресловутого "лирического героя", а героя просто.

Галич творит современный эпос в жанре баллады и в ней реализует все свои превосходные дарования — поэта, драматурга, актера и режиссера. Он как бы поставил перед нами зеркало. И мы удивились и обрадовались его точности, как будто из лабиринта кривых зеркал вышли к самой правде. Галич помог нам признаться себе в том, что мы и сами о себе знали, — но какая это была горькая радость!

Перед нами бесстыдно заголившийся мир. "Вот стоит он перед нами точно голенький", впервые удостоивший-

ся места не в гимне, а в правде, "советский простой человек". Не "шагает он гордо по полюсу", не "меняет движение рек", а мучительно избывает свою жизнь, заранее, еще до его рождения обряженную в известную форму ("Я идейность марксистскую пестовал"). И вся его жизнь — бесконечное метание между желанием эту форму сбросить ("ну, являюсь на службу я в пятницу, посылаю начальство я в задницу") и желанием эту форму соблюсти ("не смущаясь мужским своим признаком, наряжался на праздники призраком"). И последнее желание отнюдь не слабее первого. Напротив, оно очень сильно, ибо поддерживается страхом, основанным на личном и историческом опыте. Отсюда и мгновенная, до рефлекса доведенная готовность предавать себя, свои желания и чувства ("и в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада"...). Эта рефлекторная готовность к отступничеству, полная атрофия личного достоинства — плод целенаправленного полувекового воспитания всей страны.

Разнесчастный муж "товарищ Парамоновой" так мечется от Нинульки к кисочке-Парамоновой, что и впрямь пожалеешь. Вся энергия души и страдания направлена на то, чтобы это несчастье — анонимку, собрание, выговор — избыть, из себя извергнуть. Не разберешь, какое же место на самом деле занимает Нинулька в его душе. Ведь вот — без малейшего колебания — от предательства ("Не серчай, что я гулял с этой падлою, ты прости меня, товарищ Парамонова!") к попыткам возврата ("И тогда прямым путем в раздевалку я и тете Паше говорю, мол, буду вечером".) и вновь к Парамоновой при посредстве райкома... А никакого места в этой душе любовь и не занимает, как никакого места в душе Нины Саввовны не занимает сам герой.

В "Красном треугольнике" и "Балладе о прибавочной стоимости" Галич исследует своего героя в двух чрезвычайных состояниях — глубокой подавленности и внезапного, неведомо откуда свалившегося счастья. И оказывается, что отлитый шестидесятилетним опытом советской власти массовый человек омерзителен, как омерзительны и сами его состояния, как омерзительны воспитавшие его ситуации. Это состояния и ситуации вне-

человеческие; и герой таков, что по своему нравственному уровню должен быть поставлен вне человечества и потому прощен. (Ну, нечто вроде очеловеченной собаки Шарикова из "Собачьего сердца" Булгакова.) Такого героя не судят — только показывают. Под судом поэзии и совести в балладах Галича предстает не человек, освобожденный по моральной инвалидности от ответственности, — но система изготовления такого человека. Галич воистину создал "энциклопедию русской жизни" советского периода; он перебрал все жизненные, коллизии и все эмоциональные ситуации. Параллель с "Евгением Онегиным" в оценке Белинского не должна никого смущать. Какое время — таков и эпос.

"ВОПРОС ПРО ОТЦА И ГЕНИЯ"

СЮЖЕТ ГАЛИЧА реалистический и фантастический одновременно.

Вот шествуют свергнутые памятники великому вождю:

Он выходит на место лобное,
"Гений всех времен и народов!"
И как в старое время доброе
Принимает парад уродов!
И бьют барабаны!

Главное здесь то, что размножен, клиширован, выпущен в свет большим тиражом был именно тот человек, которого — единственного — объявила незаменимым империя взаимозаменяемых винтиков. И он, создав эту империю и одного себя лишь вынеся за скобки ее дремучего беззакония, целиком подпал под действие ее людоедской юрисдикции.

Поскольку "у нас незаменимых нет", то ведь и "гения" и "отца народов" можно назначить, а можно и сместить, смотря по потребности. И вот перед директором антикварного магазина №22 Копыловым Н. А. — а ему на комиссию принесли "пластиночки с речью Сталина, ровно десять штук — и все в альбомчике"— стоит неразрешимая по своей фантастической сложности задача:

Мне и взять нельзя и не взять нельзя —
То ли гений он, а то ли нет еще?!

И если шествия уродов по ночной Москве, может, и не было, то за случай с завмагом Копыловым Н. А. так твердо поручиться нельзя. Возможно, что и был, и, скорее всего, был.

В стране, где в течение полувека было порушено столько репутаций, нельзя поручиться даже за ту, которая казалась единственно нерушимой. Командармы сплошь да рядом оказывались врагами народа, врачи — убийцами, министры — шпионами. Это было вроде заразной болезни. Каждый мог кем-нибудь "оказаться". "Оказался" — одно из главных слов советского времени. Среди этих метаморфоз ошеломительно и горестно, но как бы из того же ряда, еще одно превращение:

Оказался наш отец
Не отцом, а сукою...

Галич подает посмертное персональное дело "товарища Сталина" совершенно так же, как разбор дела об аморальном поведении супруга "товарищ Парамоновой". Ничтожный винтик — и Верховный Генералиссимус уравнены сходной ситуацией:

В общем, ладно, прихожу на собрание...
.....
У них первый был вопрос — свобода Африке!—
А второе про меня — в части "разное", —

рассказывает "Парамонов".

А вот — для сравнения — рассказ "кума", лагерного гебиста, о знаменитом "преодолении культа личности и его последствий":

"Был, — сказал он, — главный съезд
Славной нашей партии,
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения?

И если уж такие титулы, такие звания, такие погоны могут быть отобраны и сорваны, то как же удержаться, на чем утвердиться бедному частному сознанию:

Тут и в прессе есть расхождения,
И вообще идут толки разные...
Вот и вникните в положение
Исключительно безобразное!..

"КАК МАТЬ ГОВОРЮ И КАК ЖЕНЩИНА"

ГЕРОЙ-РАССКАЗЧИК в балладе Галича сродни герою Зощенко и более всего выявляет себя в речи. Порой он безыскусственно, как футболист Володя Лялин или мастер цеха Клим Петрович Коломийцев, повествует о себе.

Сюжеты же, которые этим стилем излагаются, прорывают обыденность речи, заставляя вспомнить невероятные истории, рассказанные в свое время М. А. Булгаковым. Слово, знакомое и удобное, годится на все случаи жизни.

Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл!
Начал делать, так уж делай, чтоб не встал! —

Это хозяева советского спорта упрекают громилу-футболиста за то, что он недостаточно сильно изувечил на поле своего противника. А слова одни и те же для убийц и для космонавтов, рапортующих на Красной площади:

Духу нашему спортивному
Цвесть везде!
Я отвечу по-партийному —
Будет сде...

Народонаселение Советского Союза обладает столь стойким иммунитетом к этой казенной их речи, что уже ее не слышит. Клим Петрович может смело "как мать говорить и как женщина" — никто не заметит ошибки. Произносится что-то, подобающее случаю, что же именно — совершенно никому не важно. Слова говорятся не для того, чтоб вызвать отклик, а чтоб никогда никакое

слово не рождало отклика. Идет некая идеологическая игра, участники которой уже забыли о цели, но ревностно соблюдают правила. Получается, что соблюдение правил и есть цель игры. Галич вдруг обнаруживает перед нами совсем небезобидный смысл этих ритуальных действий. Ироническое отношение к форме не мешает ему — в отличие от многих критически мыслящих русских интеллигентов — заинтересоваться сутью.

Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,
Мы ж продукцию даем на отлично, —

двузначности слова "лагерь" Клим Петрович не замечает. Он добивается справедливости: цех достоин почетного звания и последующих премий.

Мы же в счет восьмидесятого года
Выдаем свою продукцию людям.

Чем же именно Клим Петрович одаривает человечество, выясняется в конце, когда высокое московское начальство отказывает Климу Петровичу, ссылаясь на специфику его продукции:

А так, говорят, ну ты прав, говорят,
И продукция ваша лучшая,
Но все ж, говорят, не драп, говорят,
А проволока колючая...

Так обнаруживается, что форма — вещь не невинная. Сколько раз можно обернуть шарик по экватору этой проволокой, изготовленной под звуки "Марша коммунистических бригад"?

"УТРО НАШЕЙ РОДИНЫ РОЗОВО..."

МЫ СООТНОСИМ ПОЭЗИЮ ГАЛИЧА С НАШИМ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ. С чем соотнести ее западному читателю?

Он сучок из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот.
Он на торговой дает — будь здоров,
Где за руль, а где какую прижмет.

Семь потов сойдет с самого замечательного переводчика, прежде чем он найдет способ воссоздать эти строки на другом языке. Но и после того страницы уйдут на комментарий к этому четверостишию, на объяснение порядка жизни, стоящего за ним.

Но вот строка, никаких лингвистических трудностей не представляющая: "Утро нашей Родины розово..."— в любом языке отыщутся эти четыре слова, но в комментарий придется поместить репродукцию знаменитой картины "Утро нашей Родины".

В 1953 году (когда умер Сталин) я училась в седьмом классе. Ежегодно мы писали сочинение по картине "Утро нашей Родины". И висела она в каждой школе, в каждой бане и в каждой сберкассе... Бескрайние поля. Далекие вышки электропередач. Розовый занимающийся рассвет. Генералиссимус в сером кителе, с шинелью, перекинутой через руку. Утро Родины с благословения вождя. Не будь его, заря бы не встала над миром, вечный мрак окутал бы бескрайние просторы. "Человек проходит, как хозяин, необъятной Родины своей"... Вот что стоит Для нас за одной строкой Галича!

Как важен ассоциативный ряд для правильного понимания баллад Галича, делается особенно ясно при обращении к одному из откровенно-публицистических его произведений — к "Балладе о чистых руках".

Так здравствуй же вечно, премудрость холопья,
Премудрость мычать, и жевать, и внимать,
И помнить о том, что народные копья
Народ никому не позволит ломать.
Над кругом гончарным поет о тачанке
Усердное время, бессмертный гончар.
А танки идут по вацлавской брусчатке
И наш бронепоезд стоит у Градчан»

Все, что вбито было в нас и напето с пионерских лет, все "Тачанки", все "Каховки", "Взвейтесь кострами, синие ночи" — вся эта совромантика сплавлена Галичем в одну строфу и вывернута швами наружу, чтобы обнажилось, чем на самом деле она была набита. Пародируемая в строфе "Песня о Каховке" М. Светлова ("Так

вспомним же юность свою боевую, Так выпьем за наши дела...") делает этого симпатичнейшего человека советской эпохи ответственным за то, что песней — и красивой песней — он освятил ложь. И он, пустивший в народ крылатую и фальшивую фразу: "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", лично ответствен перед историей за то, что сегодня "наш бронепоезд стоит у Градчан".

— Поэзия Галича возникла тогда, когда он, уже опытный литератор, порвал с заблуждением и — по его же собственным словам — " послал все это к черту". Муза Галича, быть может менее всех виноватая, берет на себя сегодня все прошлые грехи и вины верноподданной советской поэзии и искупает их, одна за всех. И не о Грибачевых и Васильевых тут речь. Одна за всех, талантливых, но заблудших, сбитых с пути или давших сбить себя с пути, — за всех, сознательно поставивших свое перо в услужение господствующей идеологии.

Вот как следовало бы прокомментировать для западного читателя эти скрытые цитаты из советских популярных песен в строфе Галича.

Впрочем, что ж беспокоиться о комментарии — в нем ли дело? Западный читатель спит, видит во сне прекрасный, розовый, как "утро нашей Родины", детант — и никаким комментарием его не разбудишь. Не разбудили его ни Солженицын, ни Максимов, ни Синявский, ни Бродский. Не разбудит его и гитара Галича. Какая сила и когда заставит его очнуться?

ТАК НЕ ШЕЙТЕ ВЫ, ЕВРЕИ, ЛИВРЕИ..."

ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА у той многочисленной аудитории, которую Галич собирал на своих концертах в Израиле, должна была вызвать особый интерес. Галич это понимал и учитывал, составляя свои программы. И, может быть, напрасно отводил ей больше места, чем она реально занимает в его творчестве. Конечно, еврейская струна всегда звучала в его поэзии. Им были означены в немногих словах все разновидности привычного советского

антисемитизма, от благожелательно-соседского ("хоть и рыжий, и еврей, но хороший") до начальственного ("я папаше подношу двести граммчиков, сообщаю анекдот про абрамчиков"), включая и международный аспект ("кровь не дороже нефти, а нефть нужна позарез"). Но нам важнее и интереснее не тематический перечень, а попытка национального самоопределения, сделанная в поэзии Галича.

Это наша общая проблема с автором. У русского и русскоязычного еврея она решается непросто и для каждого по-своему. Не его вина, что единственная его связь с миром вечных ценностей идет через русскую культуру — в России ему не было дано других путей. Но и этот путь неплох, если последовательно пройден.

Галич уехал из России иначе, чем мы. Он проводил нас стихами:

Уезжаете?! Уезжайте —
За таможни и облака.
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука!

Я стою на пороге года
Ваш сородич и ваш изгой,—

но себе он тогда выбирал другую судьбу:

Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь...

Галич вынужден был уехать:

Как же было мне странно,
Мой отчий дом,
Когда некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом...

Декларации всегда самое слабое место в поэзии. Жизнь, как правило, не принимает их во внимание. Практикой они часто опровергаются. Это не ставит под сомнение искренность прошлых заявлений, но доказывает их ошибочность.

Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут.

Я выбираю свободу,
Я пью с ней нынче на "ты".
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты.

Где вновь огородной тяпкой
Над спинами пляшет кнут,
Где пулею и тряпкой
Однажды мне рот заткнут.

Хороша ли эта декларация — если она приносит в жертву Норильску и Воркуте самых лучших детей России, если обрекает на истребление тех, от кого Россия только и может ожидать возрождения?

Мне гораздо больше по душе другая постановка вопроса, у Галича же:

Ну, а если б я гнил в Сучане,
Вам бы лучше дышалось, что ли?

Отрадно думать, что в реальной жизни поэт предпочел Париж Норильску и Воркуте. Но все-таки, как же та, давняя поэтическая задача, которую Галич брал на себя не только, как русский поэт, но именно, как еврей, "наш сородич и наш изгой"?

Уезжайте! А я останусь,
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой!

Какие могилы мешали русскому еврею покинуть Россию? Были ли такие могилы? Были! Святогорский монастырь близ Михайловского, Тарханы, Ясная Поляна. Это те самые могилы, которые с болью покидает, уходя из России, человек, воспитанный на русской культуре... Но Галич говорил о других могилах:

Там, в Понарах и в Бабьем Яре,
Где поныне и следа нет,
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить еще сотни лет!

В Казахстане и в Магадане,
Среди снега и ковыля...

В этой патетике нет истины. Если был какой-то высший смысл в гибели тех, кто остался в Понарах и в Бабьем Яре, в Казахстане и в Магадане, то он мог быть выражен только одним словом — "УЕЗЖАЙТЕ!". Эти могилы кричали — и требовали нашего отъезда. И вообще-то говоря, Галич знает это:

Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно.

Разумеется, Галич ощущает себя самого русским поэтом. Он, не бывший "полезным евреем", не искушенный по части шитья и ношенья ливрей — не обо всех новых гражданах Израиля можно сказать то же самое,— не отказывался, хотя бы из гордости от своей причастности к еврейству. Но его собственное еврейство очень внешнее, оно присутствует в его сознании, скорее, как некая экзотическая подробность. Оно — как всегда у Галича, когда он не доходит до сути, — взято как некий реквизит, на этот раз этнографический.

Сочетание в себе русского и еврейского начал Галич понимает не как сложное, проросшее одно сквозь другое, а как сложенное, т. е. как сумму неких разнородных признаков:

Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и хуле...
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе

А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок —
Это мне Арина Родионовна
Скажет: "Нит гедайге, спи сынок"...

Безвкусие последних четырех строк особенно подчеркивает неистинность такого самоощущения. Арина Родионовна не скажет "нит гедайге" ни при каких условиях. Это дважды ложное утверждение должно покоробить как русского, так и еврейского интеллигента. Для ассимилированного русского еврея, уже во втором поколении не говорящего на идиш, "нит гедайге" звучит не словечком из детства, а цитатой из Маяковского: "Это комсомольцы кемпа "нит гедайге" песней заставляют плыть в Москву Гудзон".

Там, где поэт идет за внешним признаком, за уже известной эмблемой,— там не произойдет открытия и не состоится лирическое стихотворение.

* * *

Галичу нет возврата в Россию. Его настоящая Родина, его подлинная аудитория остались там. Там — Галич прав — его песня не устареет и через век:

И будет бренчать гитара,
И будет крутиться пленка,
И в дальний путь к Абакану
Отправятся облака...

Мы простились с Россией. Не без боли, но навсегда. Внутри себя создаем мы новую Родину. Россия все еще цепко держит нас. Но мы — не сегодня еще, не завтра, но через год, через десять, через сто лет — уйдем из нее, доберемся до своего порога. Слушая Галича, мы еще раз понимаем, как правилен этот путь. Мы еще услышим новые песни Галича, но эти песни будут уже не о нас.

Окончание. Начало в первом номере журнала.

Виктор Перельман

ГАЙД-ПАРК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

ПРАВДА И ЛОЖЬ "ЛИТЕРАТУРКИ"

На партийных бюро все чаще критиковали отдел информации за то, что он уходит в сторону от главного и совершенно не освещает творчества писателей, пишущих о нашем современнике. В качестве доказательства приводилось непошедшее интервью с Федором Абрамовым, который, хотя и пишет о деревне, но далек от подлинных устремлений тружеников села.

Более всех неистовствовал на партийных бюро зав. корсетью Серебряков. Он обвинял меня в искривлении ленинской национальной политики

Надо мной явно сгущались тучи, но до конца я не понял этого даже на редколлегии, собравшейся обсудить работу отдела информации. Мне первому предоставили слово, и я сказал, что так дальше работать нельзя. Отдел захлестывает поток серых материалов, но газета упорно молчит о подлинных писателях и подлинной литературе. Я чувствовал, что явно перехожу границу дозволенного, но, к моему удивлению, Чаковский, взявший первым слово, был на редкость спокоен. И, закурив сигару, он

заговорил совсем не об отделе информации, а о новых задачах, которые поставил Центральный Комитет Партии перед Союзом писателей,— добиться дальнейшего сближения русской и национальных литератур. Это указание ЦК нашей партии отдел информации ни на минуту не должен забывать.

— А к Борису Викторовичу,— неожиданно улыбнулся Чак (он так и не запомнил моего имени и отчества),— мы, как говорится, не можем иметь никаких претензий.

Затем слово взял Прудков. Он, по обыкновению, дружелюбно мне улыбнулся и сказал, что, к сожалению, в отделе так и не удалось наладить товарищеских отношений между сотрудниками и что он, как секретарь партбюро, несет за это самую прямую ответственность.

И только Сыр с присущей ему прямолинейностью расставил точки над " i " .

— Не понимаю, к чему столько слов,— сказал он,— вопрос абсолютно ясен.— И, блеснув в мою сторону линзами очков, добавил, что в интересах лучшего освещения литературной жизни страны он предлагает объединить отдел информации с отделом корреспондентской сети.

Наступило неловкое молчание, которое тут же прервал Чак:

— Я только хочу еще раз подчеркнуть,— улыбнулся он в сигарном дыму,— что к Борису Викторовичу (Виктору Борисовичу, — подсказал ему Кривицкий), да, к Виктору Борисовичу,— решил поправиться на этот раз Чак,— мы не имеем никаких претензий Сама жизнь, как говорится, подвела нас к необходимости провести реорганизацию.

Назавтра стало известно, что заведующим объединен ным отделом назначается член Союза писателей Константин Багратович Серебряков, а через неделю навсегда исчез злополучный "Литературный репортер", на месте которого вновь появилась "Литературная жизнь страны". Так все и кончилось: реформаторские мечты, бессонные ночи,— все оказалось пустым и ненужным.

Сразу же после редколлегии меня вызвал Сырокомский и сказал:

— Помните, как я вас предупреждал, что не удержитесь. Вы меня извините, но вы ж ни черта не умеете уживаться с людьми...

Кого он имел в виду, я так и не понял. Вслед за ним меня пригласила к себе зав. отделом кадров Галя Сухарева (когда-то она была секретаршей Чака, и в газете ее звали просто Галкой) и, виновато улыбаясь, сказала:

— Послушай, Вить, что делать-то будем? Должности ведь для тебя нет.

И я бы действительно не знал, что делать, если бы в отделе науки не освободилось место специального корреспондента и заведующий отделом Володя Ривин не пригласил меня на нее.

Отдел науки был лучшим отделом "второй тетрадки", а вторая тетрадка, освещавшая проблемы внутренней жизни, создала популярность всей "Литературной газете".

Первую тетрадку делали для ЦК, вторую — для читателей, и об этом я хочу сказать несколько слов. Тем более без этого трудно понять, почему, несмотря на пережитые унижения, я решил никуда не уходить.

На Западе "Литературную газету" называют одним из самых лживых и изощренных советских изданий. Но сказать о ней только это — значит не сказать ничего. Когда-то Николай Бердяев писал: "Чтобы понять ложь коммунизма, надо понять его правду".

Мне всегда было близко парадоксальное бердяевское мышление, помогающее понять в советской жизни многое, что до сих пор остается загадкой для Запада. Так вот, перефразируя Бердяева, вполне справедливо сказать: чтобы понять ложь "Литературной газеты", надо понять ее правду. А правда эта состояла в том, что впервые на страницах советской газеты вместо штампованных догм и истин появилось живое слово, живая полемика, живое столкновение взглядов, отрицаемое, казалось бы, всей системой советской идеологии.

Истина однозначна. Истина — это то, что рождается в стенах Центрального Комитета Партии и что газеты призваны довести до сознания миллионных масс. Но вот появляется шестнадцатистраничная "Литературка", и выясняется, что истина может рождаться в споре, каких бы сложных проблем этот спор ни касался.

Дискуссия становится основным жанром "Литгазеты". Право на полемику имеют все: министр, адвокат, ученый, врач,— так же как и дискутировать можно почти обо всем: о проблемах управления, архитектуре современного города, о любви и сексе, о будущем нашей планеты,— обо всем, что волнует человека. Чтобы делать такую газету, разумеется, требовались отборные журналисты. И Сырокомский нашел их. Среди кого? Среди евреев... Начиная с 1967 года он пошел как бы со щупом по всем московским редакциям. Его не смущали фамилии: Аграновичи, Рубинов, Вельтман, Румер. Его не смущало, что ни одна из центральных газет не решалась их брать и многие из них работали в заупокойных редакциях, вроде "Вечерки" или областной газеты "Ленинское знамя". Он искал выдумщиков и фантазеров, самых талантливых из всех, кто был, и сумел найти таких, ибо снял главное ограничение: "пятый пункт". И они, евреи, услышавшие вдруг невозможное: "Пишите, что хотите, но только, чтобы это было интересно", сами добились невозможного — в условиях жесточайшей цензуры создали газету, которую увлеченно читали полтора миллиона советских интеллигентов.

Многие из них и сегодня работают в газете. Каждый день в половине одиннадцатого утра они входят в угловое здание на Самотеке и остаются в редакции до позднего вечера, до полуночи. Иные работают по 15 часов в сутки. За право работать в самой интересной газете евреям "Литературки" приходится недешево платить.

Но и сейчас для многих в СССР, даже для многих журналистов, остается загадкой: почему "Литературной газете" дозволено то, что запрещено другим? Почему ее доверили делать еврею Чаковскому и дали ему исключи-

тельное право набирать в газету таких же евреев, как он сам?

Объяснить все это — значит объяснить ложь "Литературной газеты", а я не спешу это делать, как не спешила жизнь разрушить последние мои иллюзии, связанные с "Литературкой".

В отделе науки, спецкором которого я стал, мне уже не нужно было каждую минуту ходить к руководству и согласовывать темы и авторов. Я более не был связан с графоманами и чиновниками от литературы. Передо мной открывалось новое поле деятельности.

Темы отдела науки, не связанные с живой жизнью, меня мало занимали, но я мог писать и о другом. У меня появилась возможность говорить с читателем — то, к чему я стремился столько лет и чего так и не добился в отделе информации.

Правда никогда не была для меня абстрактным понятием. Правдой было то, чем болело общество и с чем я так часто сталкивался в повседневной жизни. Вероятно, поэтому я и решил посвятить одну из первых полос проблемам здравоохранения. Говорить мне пришлось не своими устами. Журналисты "Литературки" обычно писали за других, но на фоне проблемы, которую я намеревался поднять, это обстоятельство выглядело не столь уж существенным.

Эту полосу я назвал "Кто вы, современный доктор?"— название, типичное для "Литературки", но содержание ее явно выходило за рамки заголовка. Полоса говорила не столько о докторе, сколько о больном, о простом советском больном, каких в стране было сотни тысяч, просиживающих в районных поликлиниках, валяющихся в коридорах больниц, страдающих от эпидемий и от вечной нехватки "койкомест". Обо всем этом "писал" профессор Виноградов. Его статья была главной на полосе. Рядом выступали главврач Боткинской больницы Лапченко и член-корреспондент Академии медицинских наук Тареев. У них были свои темы: плохая подготовка врачебных кадров и отсутствие у врача всякой заинтересованности в работе.

Полоса получилась острой и тревожной. Когда она была уже набрана и сверстана, меня пригласил член редколлегии по разделу внутренней жизни Александр Иванович Смирнов-Черкезов — один из самых старых работников "Литературки". 15 лет он провел в сталинских лагерях, был человеком прямым и честным.

— Вы знаете, Виктор Борисович,— сказал он,— у вас великолепный материал. Я, по совести, сам полжизни лечусь и знаю, что все это так. Больно признавать, но так...

В новом отделе это был мой первый успех, но радость была преждевременна. В понедельник, за полчаса до подписания газеты в печать, меня вызвал к себе Тер.

— Мой молодой друг,— нервно поднялся он из-за стола,— вы мне можете ответить на один вопрос: для чего вы подготовили эту полосу?

— То есть как для чего?— переспросил я.

— Нет, вы скажите, для чего? Чтобы облить грязью советское здравоохранение и поссорить "Литературную газету" с министром Петровским? Чаковский читал и был возмущен. Чернить проще всего. Это каждый дурак умеет. Вы вскройте одну проблему, но глубоко, чтобы можно было обсудить, подискутировать.

Полоса была разобрана, а Смирнову-Черкезову было указано на недостаточный контроль за подготовкой материалов отдела науки.

Вскоре вместо полосы "Кто вы, современный доктор?" появилась огромная статья все того же профессора Виноградова, и тему для нее подсказал все тот же мудрый Тер. Статья называлась: "Современный врач: универсал или специалист?" Материал печатался в порядке обсуждения, хотя никого не затрагивал и никого не критиковал.

Перед тем как подписать его. Тер снова вызвал меня и, с удовлетворением прошамкав губами, сказал:

— Вот теперь, мой молодой друг, совсем другое дело — серьезно, глубоко и, главное, видно, что хотим...

Я потерпел фиаско с медицинской полосой совсем не потому, что "Литературная газета" была против критики. Я просто нарушил "правила игры", которые никогда не произносились вслух, но существовали как непоколебимые законы деятельности редакции. Газета поднимала, казалось бы, общегосударственные проблемы, но из ее критических статей невозможно было сделать никаких практических выводов и никогда нельзя было понять, кто виноват. То есть конкретные лица назывались: пора такому-то ведомству и такому-то министру подумать о решении такой-то проблемы. И в ответ в редакцию приходили ответы от ведомств и министров, что они признают выступление "Литгазеты" полезным и своевременным и уже думают над решением указанной проблемы и даже принимают для этого такие-то меры. Но на том все и кончалось.

Как-то отдел науки подготовил проблемную полосу "Ученая степень и степень учености". Сама шапка ее говорила о порочности действующей системы присуждения ученых степеней, которая не стимулировала продвижения в науке и открывала дорогу карьеристам и дилетантам. Редакция получила сотни писем читателей. Они приветствовали выступление "Литгазеты", требовали ликвидации протекционизма и семейственности в науке, критиковали Академию наук и ее президента Келдыша. Но когда Александр Иванович Смирнов-Черкезов поехал в ЦК посоветоваться, что делать с этими письмами, какие принять меры, ему ответили:

— Что делать? Послать в Комитет науки и техники, пусть товарищи рассмотрят, подумают...

Дискуссию предложили свернуть.

— Самое главное — вовремя остановиться,— пошутил один из сотрудников отдела пропаганды ЦК.

Всему этому я бы даже не удивлялся — цензура для меня была давно привычной вещью, если бы Чаковский и Сырокомский не требовали все новой критики и новых дискуссий, способных вовлечь сотни и тысячи читателей.

Почти на каждой планерке находился отдел, обращаясь к которому Сырокомский говорил:

— Что вы мне подсовываете всякую сухотку, на которую мы не получим ни одного отклика? Кому нужна такая газета? Дайте что-нибудь почитать, какую-нибудь пищу для ума.

Подобные призывы вряд ли могли раздаваться в стенах "Правды" или "Известий". Это подкупало сотрудников, заставляло работать, не зная отдыха, и даже не замечать погромных статей против "Нового мира" и Солженицына . Но вот парадокс — в том, что, казалось бы, давало им право гордиться своей работой, что делало их издание столь популярным среди интеллигенции, как раз и заключалась ложь "Литературной газеты".

ГАЙД-ПАРК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Однажды в кабинете Чаковского состоялась встреча отделов науки и экономики с заместителем председателя государственного Комитета по труду и заработной плате Борисом Михайловичем Сухаревским.

Председателем этого Комитета был в то время некто Волков, типичный партийный аппаратчик, имеющий весьма отдаленное представление о проблемах экономики. Фактически все дела вел Сухаревский. Говорили даже, что без него Политбюро не принимает ни одного решения, касающегося экономики и заработной платы, и что он является негласным советником самых высокопоставленных лиц в государстве.

Вот такого человека "Литературная газета" и решила пригласить для того, чтобы он сделал критический обзор ее дискуссий по экономическим вопросам. Ввиду важности гостя помимо нас, сотрудников отдела науки и экономики, присутствовали Чаковский и Сырокомский.

Сухаревский сразу же избрал тон, какой обычно позволяют себе ответственные работники в узком кругу, где можно все вещи называть своими именами. Газета делает нужное и полезное делено одна из ее дискуссий— "Инже-

нер по горизонтали и вертикали" — вызывает у него невольное чувство протеста. Зачем писать о недостаточной оплате инженерного труда и сеять у читателя несбыточные надежды, если их невозможно осуществить?

— Поймите, друзья, у государства нет денег, нет!

И далее он продолжал:

— На днях меня пригласил Леонид Ильич, чтобы посоветоваться, каким категориям работников необходимо прежде всего повысить заработную плату. Я сказал, что в наиболее несправедливом положении находятся учителя. Так вы знаете, что ответил Леонид Ильч? "Насчет учителей, может быть, вы и правы, но на всех у нас сейчас нет денег и повышать зарплату будем малооплачиваемым, а учителя подождут". Так зачем же, я спрашиваю, разжигать нездоровые настроения и писать о том, чего мы не в силах выполнить?

Сухаревский кончил и окинул нас особым, не допускающим пререканий взглядом, каким он,вероятно,оглядывал своих подчиненных, когда возвращался из высших сфер и сообщал им нечто такое, что было известно ему одному. Впрочем, казалось, что и здравый смысл на его стороне: зачем,в самом деле, обещать то, что невозможно выполнить?

Но мы плохо знали Чаковского. Он взял слово вслед за Сухаревским, и одной только своей репликой, чем является "Литературная газета", тотчас же вознесся на десять голов выше нашего именитого гостя. И сам Сухаревский предстал перед нами тривиальным партийным догматиком рядом с философом Александром Борисовичем Чаковским.

Так вот, после выступления Сухаревского Чак сердечно поблагодарил его от нашего имени и сказал, что только по поводу одного момента позволит себе высказать свое соображение — стоит нам или не стоит писать о зарплате инженеров. Чак закурил сигару и, одарив Сухаревского обворожительной улыбкой, которая появлялась на его лице-маске всякий раз, когда он чувствовал свое превосходство над собеседником, сказал:

— Видите ли, Борис Михайлович, вы совершенно правы, когда говорите, что мы обязаны считаться с возможностями государства и все мы, коммунисты, обязаны выполнять обещания, данные читателю.Но применительно к "Литературной газете" здесь есть одна чрезвычайно важная тонкость. Дело в том, что партия возложила на нас специфическую задачу,— и, погрузившись в синий сигарный дым, Чак продолжал:— Один раз в доверительной беседе, которая была у меня с помощником Леонида Ильича, он остроумно заметил: "Вы,— сказал он,—у нас необычная газета. Вы у нас вроде Гайд-Парка при социализме..." Ну, а кто бывал в Гайд-Парке,— все так же улыбаясь, развел руками Чаковский,— тот знает, что там каждый имеет право выступить, хотя правительству совсем не обязательно выполнять все, что предлагают в Гайд-Парке. Да, Борис Михайлович, мы, как говорится, все коммунисты и понимаем, что у государства сейчас нет достаточных средств, чтобы повысить заработную плату техническим специалистам,— лицо Чаковского стало серьезным, и на нем снова появилась нервная гримаса. — Но когда мы дискутируем проблему зарплаты — это не значит, что завтра же она должна быть повышена. Важно, чтобы читатель знал, что партия думает над этой проблемой, думает, как ее решить... и улучшить благосостояние народа.

Лицо Чаковского снова расплылось в улыбке, но сидящий рядом Сырокомский зло сверкнул линзами очков в его сторону, и когда наш гость стал прощаться, он не выдержал и при всех сказал:

— Совершенно с вами не согласен, что мы — Гайд-Парк. Чушь это! Газета выступила по стольким принципиальным вопросам, с ней считаются министры...

Чаковский ничего не ответил, и с тех пор я уже никогда не слышал из его уст слов о Гайд-Парке, но сам я уже не мог их забыть.

Странная получилась вещь: то, о чем я лишь интуитивно догадывался и не в силах был выразить, с поразительной точностью высказал сам Чаковский.

Да, это была ложь, но не примитивная, тривиальная ложь "Правды", "Труда" или "Советских профсоюзов", призывающих своих читателей развивать социалистическое соревнование и отдавать все силы очередной пятилетке. Это была ложь высшего свойства — не для масс, для интеллигентного читателя.

Из номера в номер "Литгазета" вовлекала его в дискуссии, создавая иллюзию демократии, но это была демократия Гайд-Парка, нисколько не пугающая власти, зато уводящая читателя от реальных проблем советского общества. И сама личность Чаковского, администратора этого Гайд-Парка, была едва ли не самым полным и гармоничным его воплощением.

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

В наш прагматичный век все подвижнее становятся нравственные критерии. И более всего это относится к советскому обществу, где уже ничто не существует как самоценность: ни ум, ни талант, ни совесть человека... Оттого и не хочу я при определении личности Чаковского пользоваться "обветшалыми" моральными категориями. Мне кажется, что в нем очень мало осталось от человека в привычном, традиционном смысле слова (разве только невыпускаемая изо рта сигара и нервные тики на лице). Он даже и внешне, со своими быстрыми машинными движениями чем-то напоминал один из тех самых компьютеров, о которых так много писала "Литгазета", но которые все-таки выглядели жалкими и глупыми роботами рядом с Александром Борисовичем Чаковским.

Подобно компьютеру, он никогда не выдавал неправильных решений, он всегда точно знал, где, когда и о чем нужно сказать.

На партийных собраниях, где почти всегда присутствовал представитель отдела пропаганды, он редко увлекался славословиями в адрес членов Политбюро. Но я не помню случая, чтобы он забыл упомянуть о каждодневной дружеской помощи товарищей из аппарата ЦК.

Политбюро было далеко, а товарищи из ЦК рядом, в

президиуме, и компьютер-Чаковский великолепно знал, сколь важно, чтобы они всегда были им довольны. Вообще к "товарищам из аппарата" Александр Борисович относился с подлинным благоговением, порой переходящим в патологический страх.

Однажды на торжественном вечере в Центральном доме литераторов, посвященном 40-летию "Литературной газеты", Чаковский решил поднять тост за коллектив редакции. "Литературка" была награждена орденом Ленина, что, естественно, доставило Александру Борисовичу несказанную радость. В этот вечер он много выпил и, хотя сидел в окружении почти всего отдела пропаганды ЦК, позволил себе расслабиться. Он стал говорить о самоотверженности и бескорыстии журналистов "Литературки" и даже решился назвать фамилии некоторых из них: Вельтман, Агранович, Рубинов... И в этот миг, по-видимому, невидимые биотоки, исходящие от "товарищей из ЦК", дошли до Александра Борисовича, и он мастерски, как это мог делать только он один, перестроился:

— Разумеется, мы, журналисты, немало сделали, но положа руку на сердце спросим себя: смогли бы мы этого добиться, если бы каждый день, каждый час нам не помогали товарищи из отдела пропаганды?

И, забыв вдруг о своем порыве воздать должное коллективу, Александр Борисович предложил выпить за тех, благодаря кому "Литературная газета" стала любимой газетой советской интеллигенции. Зал был пьян, и никто, кажется, не заметил случившейся неловкости. Все захлопали, и товарищи из отдела пропаганды тоже захлопали, хотя и не так громко, как все остальные, но достаточно благосклонно, чтобы Александр Борисович мог подойти к одному из них и в знак дружбы "Литгазеты" и ЦК при всех с ним расцеловаться.

Чаковского невозможно было поставить в тупик, его реакция была мгновенной, и в самых щекотливых ситуациях, где, казалось, ему уже нечего было ответить, он умел так повернуть спор, что оппонент его сам вдруг оказывался в тупике. Если можно говорить о недосягаемых

вершинах в области демагогии, то для Александра Борисовича таких вершин вообще не существовало.

Однажды на редколлегии произошел беспрецедентный случай, когда попытался взбунтоваться заведующий отделом рецензирования Соломон Смоляницкий. То есть это был, конечно, своеобразный бунт. Просто Смоляницкий выступил против замалчивания "Литературной газетой" "Нового мира". У "Нового мира" столько читателей, а мы, сказал Смоляницкий, без конца пишем о "Нашем современнике" и "Молодой гвардии", которые никто не читает. На редколлегии присутствовал кто-то из секретарей Союза писателей, и уже по одному этому Чаковский не мог смолчать. Однако он и не мог отрицать популярности "Нового мира" и потому повернул разговор самым неожиданным образом.

— При чем тут количество читателей, Соломон Владимирович?— сказал он.— Следуя вашей логике, можно дойти до какой угодно чуши. Например, если я вам скажу, что в "Литгазете" большее число сотрудников , чем в "Труде", слушает "Голос Америки" и "Би-Би-Си", так что вы мне ответите? Что в нашей редакции больше антисоветчиков? Хотя ребенку ясно, что если и больше слушают, то причина совсем в другом: в "Литературной газете" просто работают интеллигентные люди, а интеллигенции всегда было присуще стремление понять жизнь в ее противоречиях, и поэтому вполне очевидно, что передачи западных радиостанций для нее прежде всего материал для анализа и более углубленного познания западной действительности.

И совсем другим был Александр Борисович на редакционных вечерах. Собирались обычно в его кабинете, и он первый поднимал тост и обязательно при этом весело острил. Однажды он задержался в ЦК и опоздал к началу вечера. Все уже начали пить, но севший за общий стол Александр Борисович ничуть не обиделся. Он поднялся с бокалом шампанского и сказал, что сегодняшний вечер явился для него откровением.

— Я уже давно убедился, что работать без главного редактора вы научились.— Александр Борисович намекал на свои полугодовые отсутствия в редакции, когда он сидел в Переделкино и писал свою нескончаемую "Блокаду".— Но сегодня я понял также, что вы великолепно можете без меня отдыхать.

— Александр Борисович, как всегда, режет правду-матку,— не преминул заметить пьяный Сазонов-Резников.

— Можете считать себя уволенным, Резников!— весело крикнул Сырокомский (он на вечерах неизменно шутил о том, кого намерен уволить).

После застолья обычно шли в зал, и Александр Борисович усаживался за рояль и исполнял "Фрейлехс". Он играл, а кругом танцевали, по-еврейски, обняв кончиками пальцев лацканы пиджаков, словно в эти минуты хотели забыть обо всем — и о Солженицыне, которого считали гениальным и, не прекращая, травили со страниц "Литгазеты", и о событиях в Чехословакии, которыми восхищались и с тех же страниц предавали анафеме, и о самом Александре Борисовиче, который сейчас так великолепно исполнял "Фрейлехс", а завтра снова превратится в грозного и неприступного Чака.

ГОРЕЧЬ СВОБОДЫ

Я вовсе не хочу представить журналистов "Литературки" безнравственными служителями "Гайд-Парка", взявшими на себя миссию уводить читателей от назревших проблем России. Напротив, они искренне верили (и, думаю, по сей день верят), что честно служат своей стране. Так же, как в это верил я сам, пока Чаковский не помог мне понять, какая роль возложена партией на меня и моих коллег.

И все, что казалось несообразным, встало на свои места. И более не казалось странным, отчего "Литературной газете", единственной в стране, разрешено было принимать евреев. Ведь не нуждалась, например, в них "Правда". Для того чтобы писать о том, о чем писала "Правда",

не требовалось ни особого ума, ни журналистского таланта. Но еврейский ум и талант требовались для того, чтобы уводить читателя в мир социальных иллюзий. Это была изощренная задача, требовавшая изощренного исполнения. Этим и занимались евреи "Литературки". Верили, что творят добро, и делали зло. В этом была их драма. В этом была и моя личная драма, которую я не сразу постиг. Но, постигнув, уже не мог оставаться самим собой.

Подобно всем смертным, я пытался найти в своей жизни точку опоры. Иллюзии сменялись разочарованиями и снова иллюзиями. В этом карабкании, в этом беспрестанном искании сказывался, по-видимому, мой еврейский характер с его бродильными генами Менахем-Мендла.

Казалось, в "Литературной газете" судьба приблизила меня к идеалу, но она подвела меня лишь к крушению. Взобравшись на вершину, я вдруг понял, насколько бессмысленным и бесплодным был мой путь. Вершиной оказался "Гайд-Парк при социализме", жалкая роль прислужника партийной бюрократии. Первореальности жизни находились на других дорогах. Но чтобы выйти на них, надо было свести счеты с прошлым.

Я часто слышал вопрос: когда вы решили уехать и что именно побудило вас к этому шагу? В этих случаях обычно ссылаются на отсутствие в России свободы. Говорят о стремлении жить со своим народом. Появляется рациональная схема, в которую укладывается любая жизнь и любая судьба. Но путь от несвободы к свободе куда более сложен.

В конце концов, человек не создан для тюрьмы. Человек выходит из тюрьмы в надежде, что никогда туда не вернется. Вероятно, это и есть ощущение свободы, о котором великолепно писал Сент-Экзюпери, ощущение ветра, солнца и звезд на небе — всего, что было дано человеку задолго до того, как он изобрел тюрьмы. Но ощущение свободы — это совсем не обязательно ветер, солнце и звезды на небе. В какой-то момент о них даже можно

забыть вовсе. Так было со мной, когда, уволенный с работы, исключенный из партии, я в последний раз выходил из "Литературной газеты" и думал, как это все-таки прекрасно больше никогда не являться на партийные собрания, не писать о новаторах коммунистического труда, не голосовать за блок коммунистов и беспартийных...

Это были простые, будничные вещи, среди которых я жил, и простые, будничные обязанности, которые я выполнял многие годы. Я говорил себе: "Так есть и так было всегда. На что-то человек обязан закрывать глаза. Без этого невозможно прожить жизнь..." Более глубокими мыслями о нравственной сути бытия я старался себя не обременять. Так было легче. К тому же, оставаясь в рабстве, бессмысленно было его обличать.

И только решившись порвать с прошлым, я мог позволить себе размышлять о вещах, о которых старался раньше не думать, но которые как внутренний укор жили во мне самом и саднили меня изнутри.

Почему-то вспомнил день 21 августа, когда советские войска вошли в Чехословакию. Новость эту я услышал по радио в шесть утра и, оглушенный ею, не мог ничего делать, не знал, куда себя деть.

Выпив чашку кофе, я вышел на улицу. До начала работы оставалась масса времени, и, чтобы его как-то убить, зашел в парикмахерскую на Ленинградском проспекте. Жизнерадостная толстуха-парикмахерша, ловко орудуя ножницами вокруг моей головы, комментировала напару со своей соседкой "Последние известия":

— До чего же подлые, скажу тебе, эти чехи. Русский Иван их и кормил, и от немца спас, а они нож ему в спину, к ФРГ хотели отойти...

Вечером в редакции состоялось закрытое партсобрание. Выступал Олег Николаевич Прудков. Его землистое, одутловатое лицо ничего не выражало (рассказывали, что в последнее время на почве семейных дел у Прудкова начались запои). Он говорил, что, в связи с происками правых сил в Чехословакии, Советское правительство вынуждено было принять трудное решение... Это

решение было продиктовано нашим интернациональным долгом перед коммунистической партией и народом братской Чехословакии. Он говорил, по обыкновению изящно грассируя, длинными, округлыми фразами. До конца я его выступление так и не мог дослушать и, сославшись на какое-то дело, ушел с собрания.

Мне казалось, что я обладаю способностью отдалять от себя неприятные вещи и неприятные мысли. Позже я понял, что и это была лишь одна из иллюзий. Жизнь сквозь причудливые стечения обстоятельств возвращала меня к тому, от чего я так стремился уйти.

Спустя более года после событий в Чехословакии я вдруг снова доподлинно увидел все, что там было в день 21 августа. Днем в мой кабинет (я сидел тогда уже на шестом этаже, и дверь из кабинета выходила в кинозал редакции) постучал завхоз и, явно испытывая неловкость, спросил, не собираюсь ли я куда-нибудь выходить. Если собираюсь, то лучше это сделать сейчас. Дело в том, что в кинозале состоится закрытый просмотр кинофильма, специально для редактората, для Чаковского, его замов и ответственного секретаря. И руководство просило, чтобы никого лишнего не было. Как и следовало ожидать, в зале оказались не только Александр Борисович и его замы — удалось посмотреть этот фильм и мне. Это была лента, снятая западными операторами, и называлась она "Дубчек в Москве".

Первые кадры показывали, как советские войска входили в Прагу, нет, не входили — вламывались в бунтующую и ощутившую ветер свободы Прагу. Затем показали Дубчека, бородатого, истерзанного, по-видимому, только что привезенного в Кремль из своего заточения в Закарпатье. Он сидел напротив Брежнева и гневно стучал кулаком по столу. А Брежнев молчал и, барабаня пальцами по столу, непонимающе пожимал плечами.

Чак и его замы сидели ко мне спиной, и я не мог видеть, как они воспринимали эту картину. Впрочем, как они могли ее воспринимать, если в те дни "Литературная газета" за большие заслуги в области коммунистического

воспитания трудящихся была удостоена ордена Ленина, а незадолго до этого посол Советского Союза в Чехословакии Червоненко в своем личном докладе Брежневу отметил принципиально правильную, партийную позицию "Литературной газеты" во время событий в Чехословакии!

Советские танки топтали землю Чехословакии, а в "Литературной газете" жизнь шла своим чередом. После фильма я отправился домой пешком и на Маяковской у входа в ресторан "Пекин" случайно увидел Прудкова и Долматовскую. До этого я никогда их не видел вместе. Они вышли из такси и, легко взбежав по ступенькам, скрылись в залитом светом зале ресторана. Если мне не изменяет память, это было в один из первых дней после "реорганизации" отдела информации.

Прошлое всплывало без всякой последовательности, вопреки логике и ходу времени. Вспомнил, как, будучи в плавании на Банке Джорджес, я узнал о начале Шестидневной войны. Как и полагалось в подобных случаях, помполит каждый вечер собирал экипаж на политинформацию. Он говорил теми же словами, что вещало из Москвы судовое радио, а именно, что израильские захватчики стремятся к аннексии чужих территорий и к порабощению соседних арабских народов. Потом выходили на палубу, и я снова видел усталые, равнодушные лица матросов. Однажды один из них — на судне его звали Купо Купыч,— едва усмехнувшись, прокомментировал события на Ближнем Востоке:

— А все говорят, что еврей воевать не умеет!

Вот так я услышал о Шестидневной войне.

Позже я читал об Израиле в "Литературной газете". О нем едва ли не каждый день писали "Правда", "Известия", "Труд", но у "Гайд-Парка при социализме" и к этой теме был свой подход.

Время от времени ответственный секретарь Горбунов-Гиндельман и фотокорреспондент Михаил Трахман выезжали в Вену, чтобы интервьюировать возвращенцев из Израиля. Выезжали, правда, не одни, а в неизменной ком-

пании человека, который подписывал вместе с ними материалы как "журналист Гудков". Кто был в действительности "журналист Гудков", знали даже не все в редакции. В форме он никогда не ходил и в газете появлялся редко. Зато, по рассказам Горбунова-Гиндельмана, в Вене проявлял активность необыкновенную. Перед тем как устраивать интервью, он собирал в специальном помещении обитателей улицы Йордим, так называли здесь улицу, где, уповая на милость властей СССР, влачили жалкое существование возвращенцы из Израиля. Так вот их, голодных, опустившихся, застрявших между двумя мирами, и собирал "журналист Гудков" и торжественным голосом зачитывал решение Советского правительства — позволить семье такой-то вернуться на Родину, в СССР. Одной — из десятков других. Другим оставлялась надежда, и конечно же "право" дать интервью корреспондентам "Литературной газеты".

Из Вены наши спецкоры всякий раз возвращались гордые исполненной миссией. В редакции о виденном предпочитали не распространяться. И лишь в ресторане Дома журналиста, куда оба любили наведываться по вечерам, позволяли себе "расслабиться".

Особенно они любили рассказывать о самой Вене и венских кабаре (куда один или два раза отважились зайти) . Об Израиле даже и в Доме журналиста предпочитали помалкивать. Зато в своих репортажах не жалели красок. Точнее даже не они, а обитатели улицы Йордим, которые отрабатывали таким образом право вернуться обратно в Россию. Как следовало из этих репортажей, не было на нашей планете более жестокой, равнодушной и бескультурной страны, чем Израиль.

Репортажи из Вены публиковались под сенсационной шапкой "Правда о земле обетованной". На летучках всякий раз подчеркивалось, что это важные идеологические акции "Литературной газеты", и материалы неизменно признавались лучшими в номере.

Но сколько я ни размышляю о прошлом, я и сегодня не в состоянии ответить на вопрос: что впервые

натолкнуло меня на мысль уехать? События в Чехословакии? Шестидневная война? "Литературка" с Маковским и нашим главным моралистом Прудковым?

Как некогда остроумно подметил горбун Чернецкий, все со всем связано. В мире, из которого я ушел, не было чего-то более и чего-то менее отталкивающего. Одно дополняло другое. В чем-то этот мир был даже целен и гармоничен.

Это была гармония призраков, несуществующих идолов, с их феноменальной способностью превращать миллионы людей в тупых и оболваненных роботов.

И если вы большую часть жизни служили этим идолам лжи, то вам не просто с ними расстаться. Рабство вас продолжает цепко держать даже тогда, когда разумом вы решили начать все сначала. Начинается время мучительного раздвоения и жестокой внутренней борьбы, пока не происходит последний толчок и невидимая чаша весов навсегда перевешивает вашу судьбу. И вы говорите себе: "Более так жить невозможно, пусть будет, что будет, но только не эта ничтожная рабская жизнь".

Так или примерно так было и у меня в "Литературной газете". Были мучительные колебания, был голос разума, давно говоривший, что жизнь, подобная той, что я вел, лишена всякого смысла, была наконец последняя капля, перевесившая чашу весов...

Эта последняя капля опять же связана с моим еврейством. Долгие годы я надеялся на лучшее, но вот наступил момент, когда я почти физически почувствовал: где бы я ни оказался, как бы в жизни ни преуспел, я все равно останусь евреем, изгоем, которому в лучшем случае уготована участь обоснователя той самой несвободы, которая давила меня всю жизнь.

Попробую объяснить, как все было, и для этого следует сказать несколько слов о моей еврейской фамилии. В отношении таких, как я, в советской печати существовал неписаный закон: еврейские фамилии журналистов не должны появляться на страницах газет. Их обладателям надлежало брать псевдонимы. Я никогда не считал, что

моя фамилия на газетной полосе звучала изящнее, чем любая другая. Возможно, при других обстоятельствах я бы и сам счел нужным найти себе литературный псевдоним. Но, наверное, оттого, что еще 20 лет назад, когда я написал первый фельетон в 'Труде", мне недвусмысленно предложили взять псевдоним, оттого, что всякий раз, когда залеживалась моя статья, я не мог не думать, что виной этому опять же моя еврейская фамилия,— от всего этого еще в годы молодости во мне родилось чувство протеста, с которым я никогда не мог справиться. Всякий раз, когда я подписывал статьи не своей фамилией, я не мог избавиться от чувства, что надо мной совершено насилие и в чем-то меня заставляют не быть самим собой.

В "Литературной газете" я был единственным из евреев, позволявших себе "жить" без псевдонима. У Маковского и Сырокомского это вызывало глухое недовольство. Я нарушал и это правило игры, согласно которому евреев Гайд-Парка надлежало тщательно скрывать от глаз читателя.

И почти всегда, когда моя фамилия должна была появиться на страницах газеты, против нее начиналась тайная война. Если я брал интервью, то по какой-то странной забывчивости верстальщика, она вдруг исчезала с полосы. А когда это сделать было невозможно, ее старались набрать мелким шрифтом и перенести вниз, чтобы трудно было заметить. Ответственный секретарь Горбунов-Гиндельман делал это обычно с циничной улыбкой, словно бы нехотя и у меня самого ища понимания в создавшейся щекотливой ситуации:

— Я надеюсь, старик, ты не заподозришь меня в антисемитизме. Сам знаешь, рад бы в рай, да грехи не пускают.

Он старался говорить шутливыми полунамеками, из которых я сам должен был сделать выводы.

И чем острее становился мой конфликт с руководителями газеты, тем безжалостнее изгонялась с ее страниц моя еврейская фамилия. Последний раз она появилась, когда я уже понимал, какая роль отведена "Литературной газете". Это был мой последний бунт, последний эксперимент, которым я пытался сам себе доказать, что еще не все потеряно и что если собраться с силами, то и в Гайд-Парке можно кое-что сделать.

В каком-то смысле это была одна из самых советских, самых партийных статей, которые я когда-либо писал. Разумеется, при условии, если бы партия и власти стремились выполнять свои собственные декларации.

Я отстаивал неоднократно утверждаемую со страниц "Правды" мысль, что в советском обществе все должны быть равны перед законом, даже те, кто в прошлом совершил преступление. О них и шла речь в моей статье. Точнее, это была даже не статья, а репортаж. Репортаж о "воровской сходке", на которую собрались бывшие преступники и говорили о том, что мешало им начать честную жизнь. И прежде всего они говорили о так называемом "Положении о паспортах", согласно которому люди, отбывшие наказание, лишались права возвращаться в города, где они жили раньше. Я писал об уголовниках, но имел в виду и других, кто был брошен в тюрьму за убеждения и никогда не мог вернуться домой.

По всей стране действовали так называемые "стокилометровки", которые превращали сотни тысяч людей в изгоев. Их не брали на работу. Их не прописывали по старому месту жительства, и положение их было трагичным.

Когда прочел материал Тертерян, он тотчас послал меня за визой в Министерство внутренних дел. Проблема была давно назревшей. Статистика самого министерства недвусмысленно показывала,что "Положение о паспортах" вызывает массовые рецидивы преступлений. Возможно, поэтому материал решили показать лично министру внутренних дел Щелокову, и он лично завизировал его. Теперь даже вечный перестраховщик Тер мог пропустить статью со спокойной душой. Разумеется, он не мог представить, что не пройдет и нескольких дней после опубликования статьи и его пригласят в административный отдел ЦК для

того, чтобы он дал объяснение по поводу провокационной статьи Перельмана "Человек вернулся".

Я до сих пор не знаю, что более возмутило замзава административным отделом ЦК КПСС Альберта Иванова, поднявшего это дело, — то ли, что "Литгазета" вышла за рамки дозволенного ей и вторглась в сферу, столь бдительно охраняемую партийными аппаратчиками, то ли, что это позволил себе не кто иной, как еврей Перельман. Вероятно, его возмутило и то, и другое. По его указанию в редакции началось расследование, как статья появилась в печати. Меня поочередно вызывали к себе то Прудков, то его заместитель, кадровичка Галка Сухарева. Прудков, которому Сырокомский всегда поручал вести подобного рода дела, сидел барственно развалившись в кресле и с ничего не выражающим лицом допрашивал меня:

— Известно ли вам, Виктор Борисович, что в Центральном Комитете Партии решили серьезно разобраться с вашей статьей? Интересно знать, кто подсказал вам идею выступить именно с этим материалом?

Галка Сухарева придерживалась, как всегда, чисто товарищеской нотки:

— Ну и наделал же ты, Витька, делов. Знаешь, как Сыр рвет и мечет? Вечно, говорит, у нас с этим Перельманом неприятности.

Неожиданно проснулся мой "старый друг" Серебряков и заявил, что еще в мою бытность заведующим отделом информации в моих письмах собкорам национальных республик проскальзывали провокационные нотки. Я же ловил себя на странном чувстве: у меня не было ни малейшего страха перед нависшими неприятностями, а был лишь спортивный интерес — чем могло кончиться это дело, в котором я не только прав по существу, но на моей стороне также Министерство внутренних дел.

Дело кончилось тем, что собралось закрытое заседание секретариата ЦК КПСС, на котором строго предупредили Чаковского и просто предупредили министра внутренних дел Щелокова за то, что проявил беспечность в отношении идеологически вредного выступления "Литературной газеты". Но когда это решение обсуждалось на очередном совещании редакторов газет в ЦК партии, то выступавший по этому вопросу Альберт Иванов ни словом не обмолвился ни о Чаковском, ни о Щелокове. Почти все выступление он посвятил провокационной статье Перельмана, который пытался посеять у читателя недоверие к советской конституции и к советским законам.

Впрочем, в отношении последнего у Альберта Ивановича Иванова, очевидно, нашлись бы другие слова, если бы он хоть на миг мог представить себе, что автор статьи через некоторое время окажется в рядах сионистов и "антисоветчиков", с которыми ему опять же придется бороться, но уже с применением других средств. Вероятно, поиному вел бы себя на заседании ЦК и министр внутренних дел Щелоков, пытавшийся отстаивать статью. И уж наверняка знал бы, как ему поступить главный редактор "Литгазеты" Александр Борисович Чаковский...

Вскоре после этой истории я заболел. Но думаю, что и болезнь моя вряд ли могла остановить Чаковского. Он нашел бы способ, как от меня избавиться, не дожидаясь весны семьдесят второго года, которая принесла ему столько неприятностей.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

8 марта я еще был членом партии и специальным корреспондентом "Литературной газеты". И Алексей Иванович, швейцар Московского дома журналиста, уважительно открывал передо мной дверь. 12 марта, то есть спустя четыре дня, я стал никем...

И началось все в маленьком почтовом отделении, расположенном напротив нашего дома, в переулке Марины Расковой. Отсюда я решил послать в газету заявление и, как требовал установленный порядок, попросить характеристику для выезда на постоянное жительство в Израиль. 8 марта было пятницей, 9 и 10 — выходные дни. 11-го мое письмо придет в редакцию.

Я столько раз все обдумал и передумал, что, казалось, уже нечего опасаться. Я знал, что после моего обращения

в партбюро за характеристикой я не проживу в газете и дня, что буду тотчас исключен из партии и надолго останусь без работы.

Я пытался представить, как мое заявление получит Прудков — под его руководством в газете велась антиизраильская кампания, — как он будет докладывать о случившемся Чаковскому, как Чаковский тотчас поедет в ЦК, чтобы, в свою очередь, доложить о происшедшем там, — и, сколько я ни рисовал себе этих сцен, до конца я их представить не мог. Слишком противоестественны они были для всей жизни "Литературной газеты", которой партия отвела "почетную роль" "Гайд-Парка при социализме".

О своих планах я никому не рассказывал и только накануне поделился со своим приятелем Кленовым, с которым встретился по этому поводу. Он долго смотрел на меня оторопевшим взглядом и без конца повторял:

— Безумство, какое безумство!

Потом начал меня уговаривать уйти из газеты, не доводя дела до скандала. Он пытался мне объяснить, какому риску я себя подвергаю и какие страшные последствия могут наступить.

Весь вопрос состоял в том, откуда подать заявление — из газеты, из "логова" (как я сам себе говорил), или предварительно уволиться из редакции. Последнее было, конечно, безопаснее.

Но я решил подать заявление из газеты, считая необходимым открыто порвать с ее линией. Я понимал, что в ЦК это будет расценено как политический шаг, и шел на это.

Ситуация была настолько острой, что ждать приходилось всего. Меня не покидало ощущение, что если я сам приду к Прудкову, то он позже может отказаться от услышанного и меня уволят прежде, чем я сделаю первый шаг. Поэтому я и решил послать заявление по почте с письменным уведомлением о его вручении.

Когда утром в понедельник я поднялся на пятый этаж в свой кабинет, то работать уже не мог. Сидел в кресле.

уставившись в телефонный аппарат, ждал, когда наконец меня вызовут к начальству. По моим расчетам, заявление должно было прийти в редакцию с утренней почтой, и, конечно, Прудков тотчас пригласит меня к себе. Но телефон молчал, и я после бессонной ночи задремал в кресле.

Когда раздался звонок, со сна я даже не узнал голос секретарши Прудкова, срочно вызывавшей меня к Олегу Николаевичу. Я закурил и облегченно вздохнул — через несколько минут все кончится.

Спускаясь на четвертый этаж к Прудкову, я знал уже слова, которые скажу. Но события развернулись несколько неожиданно, и, как это бывает, в самый драматический момент возникла комическая ситуация.

С утренней почтой мое заявление не пришло в газету, и вызвал меня Прудков совсем не по поводу Израиля, а хотел дать какое-то партийное поручение. А мне казалось, что он лукавит и только делает вид, что не получил письма, для того, чтобы выиграть время. Поэтому я сам решил ускорить события и спросил:

— Олег Николаевич, вы получили мое заявление?

— Заявление? Какое заявление?

"Актер", — подумал я и, набрав воздуха, произнес:

— В котором прошу вас дать характеристику для выезда в Израиль...

И тут, глядя на Прудкова, я вдруг понял, что он действительно ничего не получал и ни о чем не подозревает, и вообще я не знал, что станется с ним на моих глазах. Холеное его лицо, мгновенно сделавшееся землисто-серого цвета, перекосила болезненная гримаса. Она несколько минут не сходила с его лица. Наконец он спросил:

— А вы уверены, что вас отпустят? Ведь не всех, я слышал, отпускают...

Вопрос этот мне тогда показался глупейшим: какое, собственно, его, Прудкова, дело — отпустят меня или не отпустят. Только позже, когда я стал получать отказ за отказом, а сотрудники КГБ хватали меня на улице, выключали мой телефон, устраивали облавы, до меня стал доходить зловещий смысл этого вопроса.

Между тем наутро меня вызвал к себе Сырокомский и сказал, что за последнее время я резко ослабил работу, стал прогуливать, материалы мои неинтересны...

Я попробовал возражать, но Сыр сидел, уставившись в стол и не удостаивая меня взглядом.

— Через два часа заседание редколлегии, — сказал он. — Прошу быть. Впрочем, можете не приходить. Можете уже сейчас считать себя уволенным!

Я, кажется, успел заметить, что это беззаконие — меня увольняют за желание уехать в Израиль. Сырокомский резанул меня линзами очков и, криво усмехнувшись, сказал, что он меня больше не задерживает.

Уволили меня, действительно, через два часа — за систематические нарушения трудовой дисциплины, за прогулы и несоответствие исполняемой должности.

Вечером должно было разбираться мое партийное дело. Самого Чаковского не было. В его огромном кабинете за длинным "т-образным" столом собрались члены партбюро — их было, кажется, человек девять или десять. Напротив меня расположился Серебряков. Чуть поодаль — Галка Сухарева, а подле меня — редактор отдела братских литератур Ахияр Хакимов. Все сидели с каменными, ничего не выражающими лицами. С такими лицами, вероятно, члены особых совещаний судили в 37 году "врагов народа".

Войдя в кабинет, я пытался понять, как пойдет заседание. Неужели все они, считавшие себя элитой интеллигенции, уподобятся тривиальным крикливым демагогам и, словно по команде, начнут трубить о предательстве и измене Родине.

Но я тотчас понял, что меня ждет не обычное заседание. Начало положил Константин Серебряков. Он спросил, в какую партию я намерен вступить в Израиле. Еще перед заседанием я решил, что не позволю себе лгать ни в чем.

— В какую партию буду вступать? — переспросил я, подыскивая, по возможности, наиболее точный ответ.— Не знаю, в какую партию. Приеду, познакомлюсь со страной и тогда решу...

— Но позвольте, Виктор Борисович, в Израиле есть только одна последовательно марксистская, ленинская партия — это коммунистическая партия, значит, вы хотите порвать с марксизмом?

— Скажите, к кому из родственников вы едете? — последовал следующий вопрос.

Вмешался Сырокомский.

— Я думаю, товарищи, что у Виктора Борисовича в Израиле единственный родственник — радиостанция "Голос Израиля".

Вслед за этой репликой снова пошли вопросы, один за другим, и, что было странным, в большинстве своем они вроде бы и не относились к повестке дня.

Галка Сухарева вдруг стала расспрашивать меня, над какими статьями я в последнее время работал, какую читал литературу, в каких научных учреждениях бывал. Я спокойно отвечал, не в силах уловить тайного смысла этого вдруг обуявшего ее любопытства. Ахияр Хакимов, которого вообще никогда не было слышно, спросил, сколько времени я болел и в какие газеты за это время писал.

Никто не повышал голоса. Говорили пристойно. Казалось, члены партбюро только и озабочены тем, чтобы узнать все, что им необходимо, и отпустить меня с Богом в мой Израиль.

И только когда начались прения, я начал кое-что понимать. Первым выступил Сырокомский. Он сказал, что не далее как утром, у него в кабинете, я проявил себя как законченный антисоветчик. Вторя антикоммунистическому, сионистскому охвостью, я заявил, что меня увольняют за мое желание уехать в Израиль, когда всем ясно, что меня увольняют за плохую работу.

В прениях выступали кратко и по-деловому. Вначале каждый мне давал характеристику. Затем вносились предложения. Об исключении из партии никто не говорил — это подразумевалось. Предложения были иного свойства, и, когда их начали вносить, я понял, что скрывалось за "невинными" вопросами, которыми меня забрасывали члены партбюро.

Галка Сухарева, выспрашивавшая, в каких научных учреждениях я бывал, все тем же миролюбивым голосом предложила вписать мне в характеристику, что по роду деятельности я имел доступ к государственным секретам.

— Но это же ложь, — не выдержал я.

— Ложь? — возмутился Сырокомский. — Все советские журналисты имеют доступ к государственным секретам.

Затем стали поступать следующие предложения, столь же краткие и деловые. Ахияр Хакимов, интересовавшийся, куда и какие статьи я написал во время болезни, сказал, что во время болезни полагается болеть, а я использовал больничный лист в корыстных целях. Он предложил обратиться к прокурору и от имени редакционного коллектива потребовать привлечь меня к суду за... мошенничество.

— Но в чем же мошенничество? — снова не выдержал я.

— А в том, что вы не наш человек! — кажется, впервые за все заседание повысил голос Хакимов.

В тот же вечер по редакции распространился слух, что по косвенным каналам я был связан с английской разведкой. Поводом было сообщение "Би-Би-Си", что специальный корреспондент "Литературной газеты" возбудил ходатайство о выезде в Израиль.

В редакции в этот день со мной никто не здоровался. Никто не прощался. Люди, с которыми я работал столько лет, просто не замечали меня. Да и можно ли было их обвинить в том, что они опасались иметь дело с человеком, работавшим на английскую разведку.

Выйдя из редакции на улицу, я несколько раз подряд оглянулся. Мне все казалось, что за мной кто-то идет. Но нет, никто не шел. Москва жила своей шумной вечерней жизнью, и никому не было дела до того, что произошло в этот вечер в стенах "Литературной газеты".

Утром, впервые за много лет, я не должен был никуда спешить. Мог целый день валяться на кровати, мог сколько влезет бродить по квартире, мог уехать Бог весть куда...

После завтрака решил позвонить Кленову. Я поднял телефонную трубку и услышал треск, затем долгое, натужное гудение — казалось, кто-то тайно прокрался в мой аппарат, чтобы отныне и навсегда стать свидетелем моей жизни.

Кленов, которому я звонил, оказался вдруг очень занятым и сказал, что через несколько минут позвонит мне сам. Разговаривал он странным, смущенным тоном. Я позвонил другому своему приятелю. Он сказал, что болен, и так же, как Кленов, быстро свернул разговор. Мир, в котором я прожил столько лет, явно опасался поддерживать со мной отношения.

Я не знал, куда себя деть, и позвонил в "Профиздат", чтобы выяснить, когда будет сигнальный экземпляр моей новой книги. Но и редактора мой звонок привел в странное смущение.

— Видите ли, — сказала эта всегда симпатизировавшая мне женщина, — вашу книгу час назад сняли с производства...

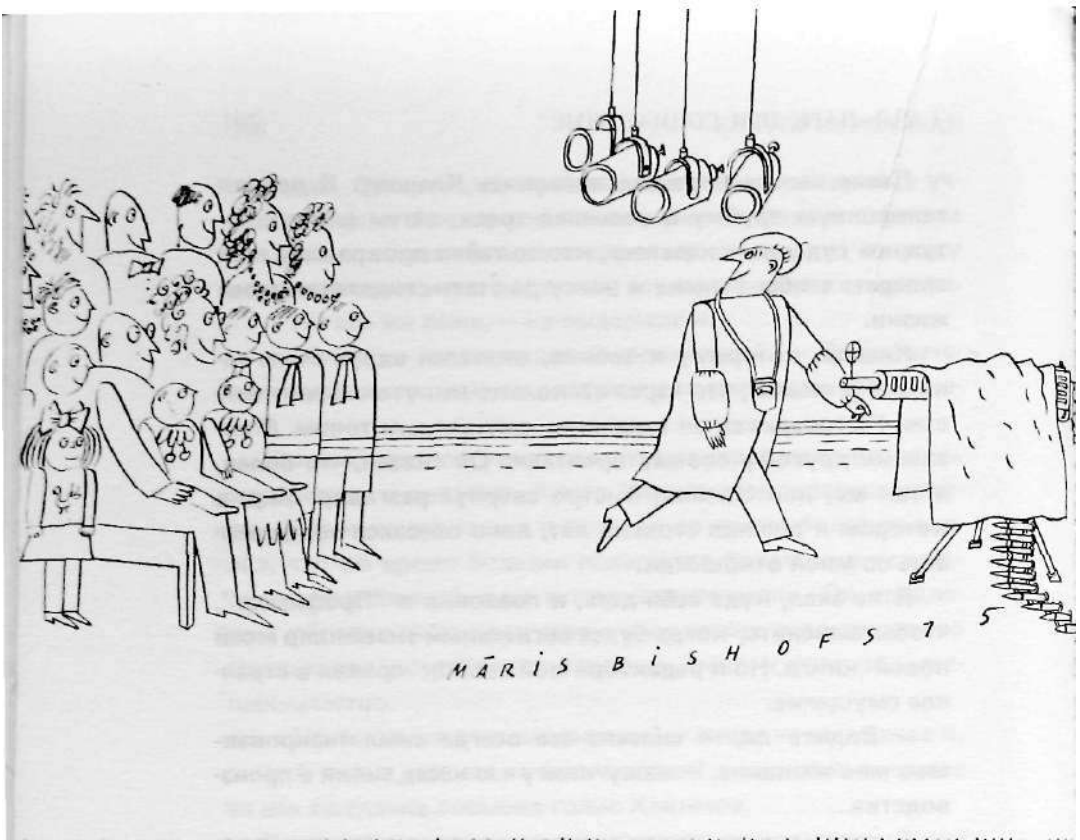
Я хотел тут же звонить главному редактору, но, подняв трубку и услышав уже знакомое мне натужное гудение, вдруг понял, что это бессмысленно — куда звонить, на кого жаловаться?..

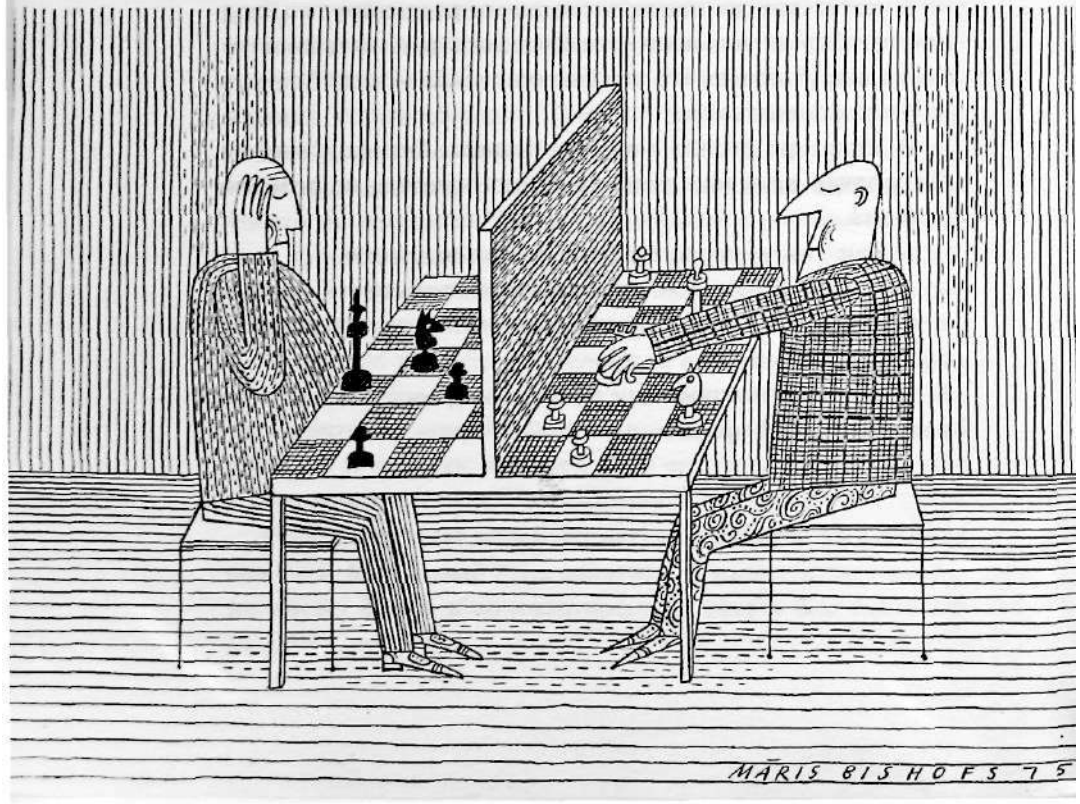
В квартире стояла мертвая тишина. Телефон молчал. Он молчал день или даже два, пока наконец не позвонила мама.

— Как это ты решилась? — мрачно пошутил я.

— А что? Я мать! — старалась она втолковать кому-то в трубку.— Кто мне может запретить? Мать всегда имеет право звонить сыну...

Она говорила громко и решительно, как человек, уверенный в своей правоте.





СТРАНИЦЫ ЮМОРА

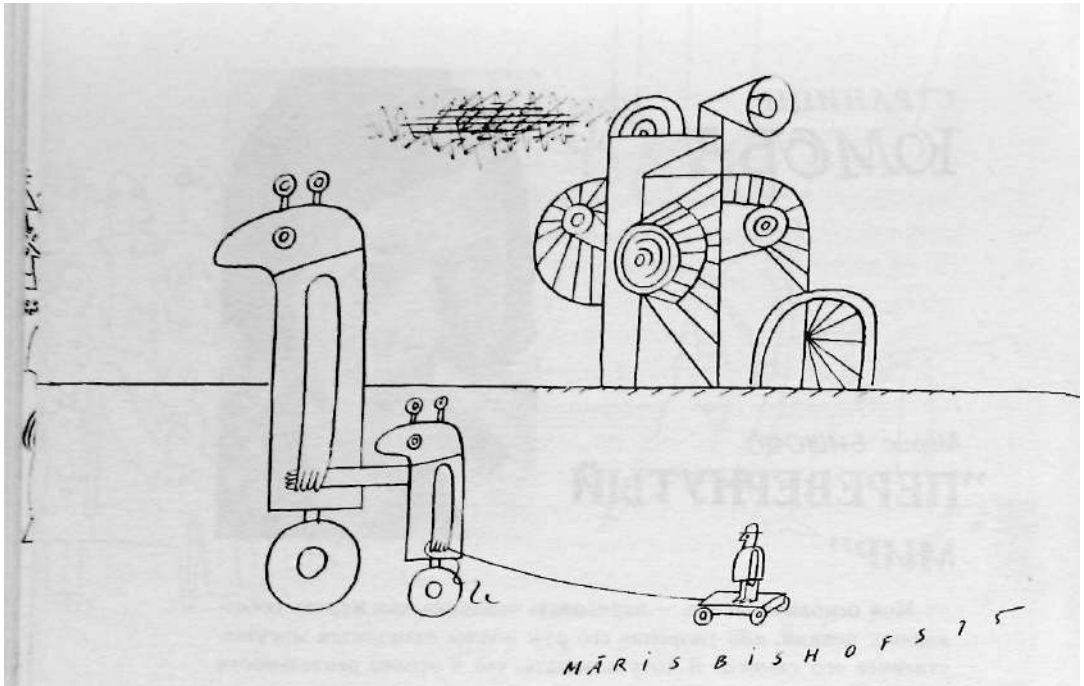
Марис БИШОФС

"ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР"

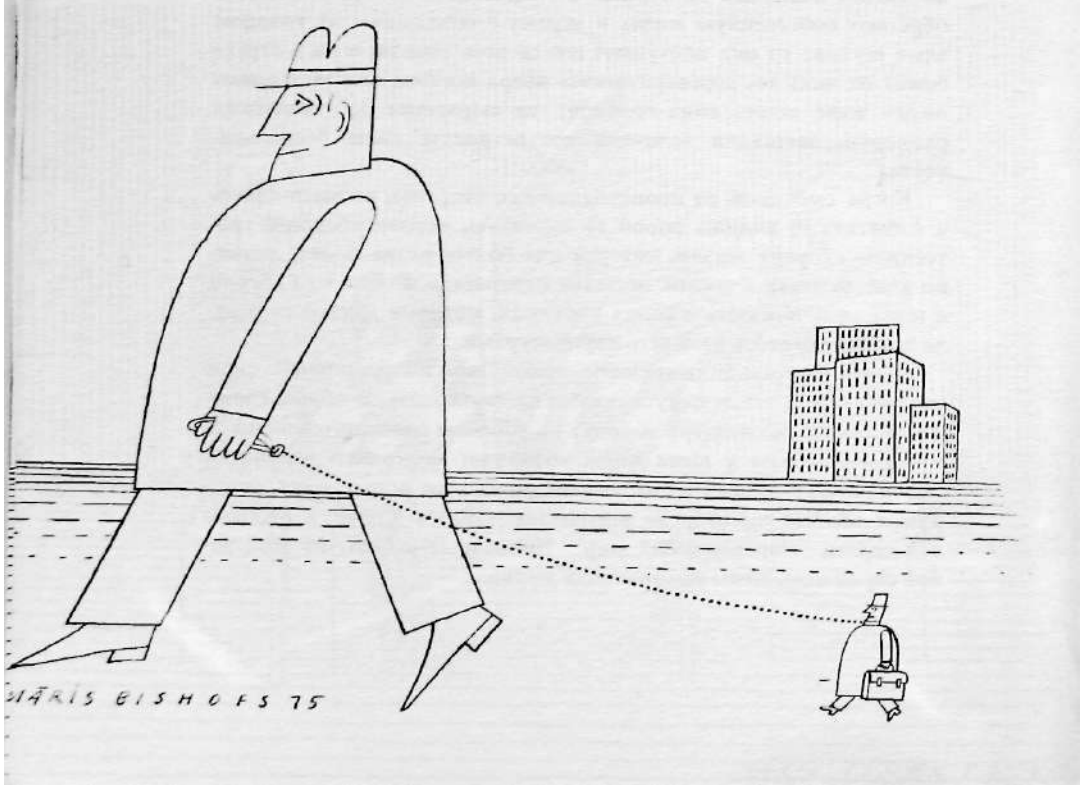
Моя основная мысль — нарисовать человека как жертву собственных деяний, ибо творение его рук подчас становится могущественнее его самого. Я хочу показать, что в основе деятельности человека нередко лежит деструктивное начало, даже не осознанное им самим, и не боюсь довести эту мысль до парадокса. Человек выступает не как создатель разрушительной атомной бомбы или какой-либо иной смертоносной силы, а как жертва созданных им самим невинных на первый взгляд вещей, которые внезапно обретают собственную жизнь и играют с создавшим их творцом злые шутки: то они обступают его со всех сторон, и он в страхе бежит от них; то, перевернувшись вверх ногами, они заставляют людей тоже встать вниз головой; то вырастают до гигантских размеров, заставляя человека почувствовать свою беспомощность.

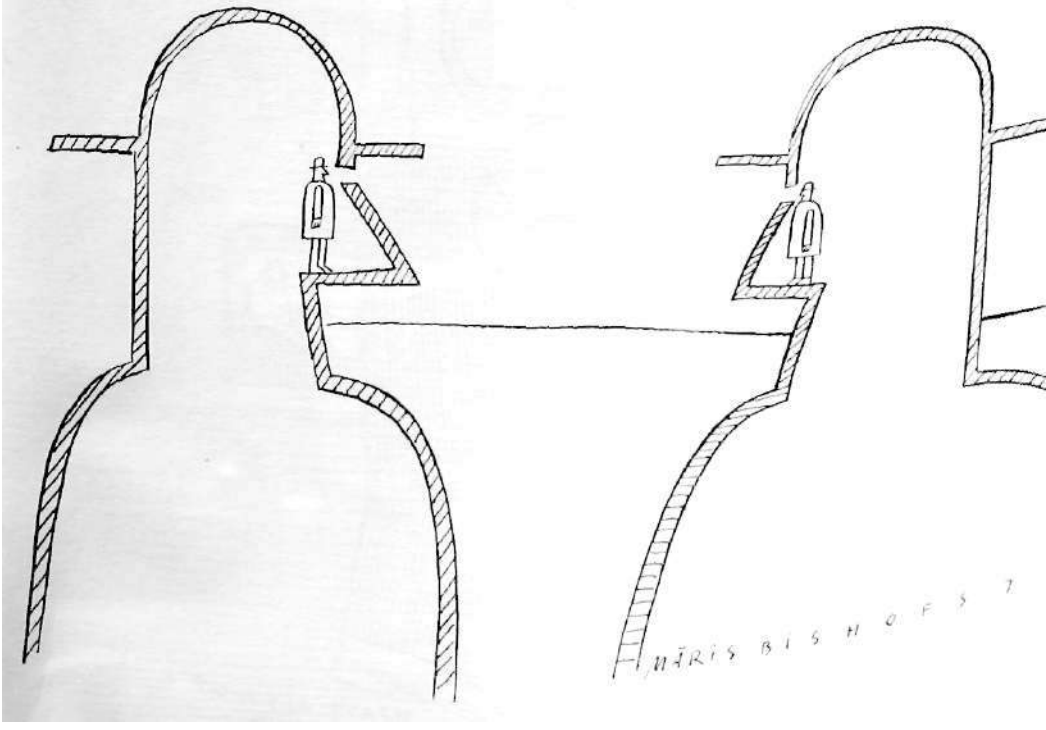
Когда смотришь на происходящее со стороны, не вмешиваясь в события, то видишь порой ту смешную, вернее, абсурдно-гротескную сторону жизни, которая для большинства людей, активно участвующих в жизни, остается незамеченной. Вот этот абсурд я и пытаюсь показать в своих рисунках, которые далеко не всегда мне бы хотелось называть карикатурами.

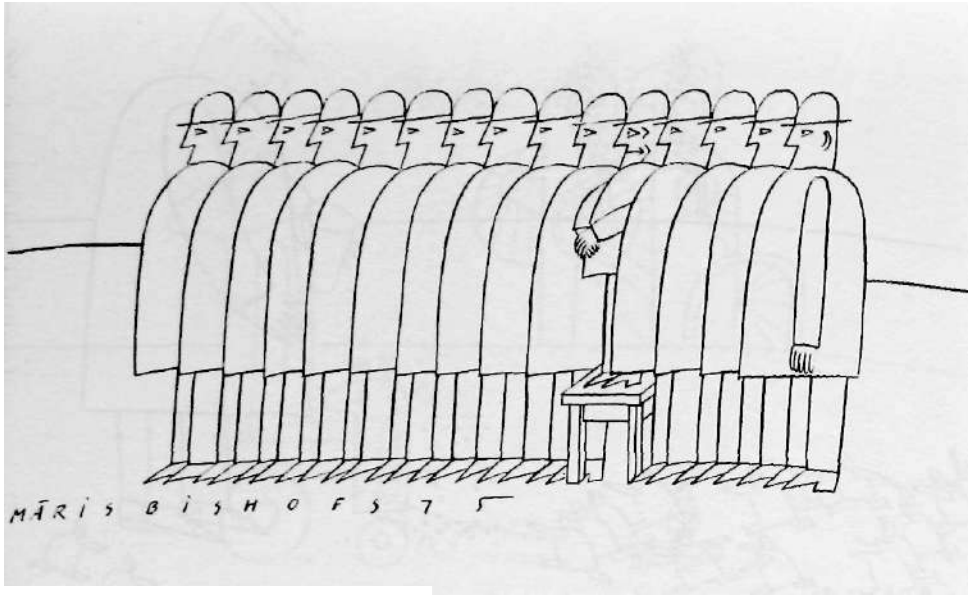
Обычно я продолжительное время "коллекционирую" свои наблюдения, а затем сажусь, чтобы их зарисовать. В общей сложности, рисую месяца три в году, но работаю очень интенсивно. В процессе работы у меня часто возникает несколько рисунков, объединенных общей идеей, — так рождается новая серия, которую я обычно никогда не задумываю заранее. Сейчас я работаю над серией "Перевернутый мир". Некоторые работы из этой новой серии помещены на страницах журнала.

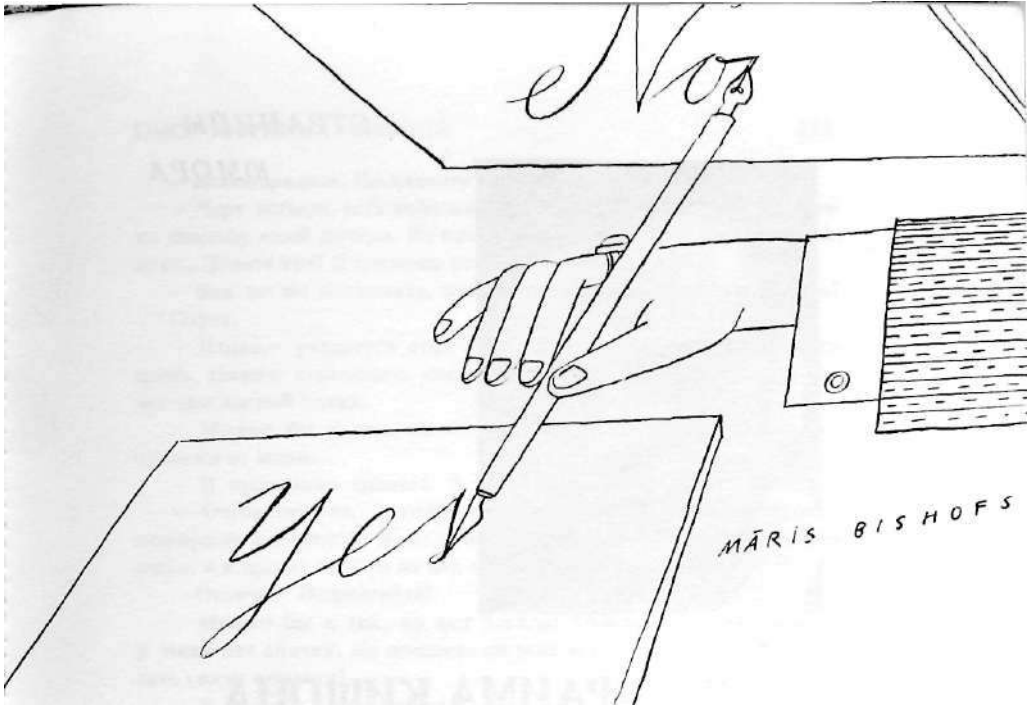

MĀRIS BISHOFS 75

MĀRIS BISHOF

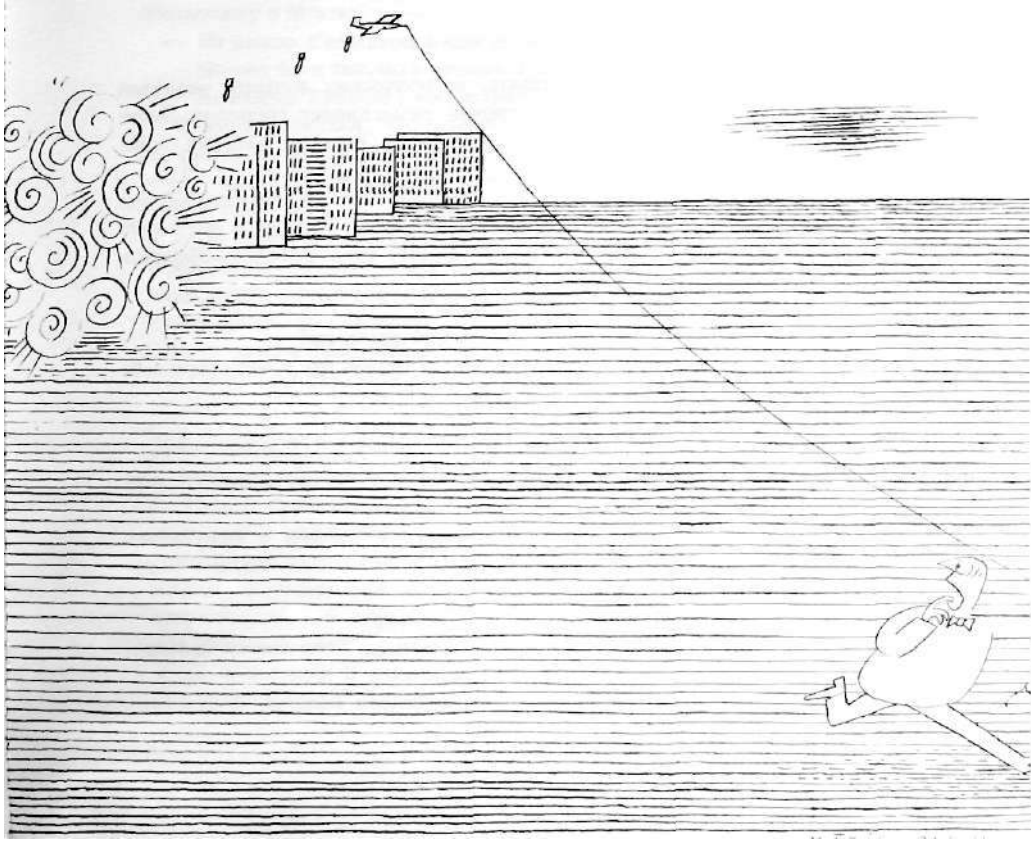

MĀRIS BISHOFS 75


MĀRIS BISHOFS 7


MĀRIS BISHOFS 7


No
Yes
MĀRIS BISHOFS

MĀRIS BISHOFS 75



ЮМОР ЭФРАИМА КИШОНА

КОНТРАМАРКА

В один из, можно сказать, исторических вечеров раздался телефонный звонок: меня срочно разыскивает господин Зискраут, владелец фабрик "Постное масло Элит" и "Рабочая одежда Элегант".

— Рад вас приветствовать,— говорит он, — возможно, вы меня помните: однажды вас знакомили с моим братом, а мы с ним похожи как две капли воды. Я, видите ли, хотел бы посмотреть вашу пьесу.

— Что ж отвечаю, посмотрите.

— Не могли бы вы мне устроить контрамарку?

— С превеликим удовольствием, говорю, но у меня при себе нет чистого бланка.

— А где он?

— Дома.

— Не важно. Пошлите домой такси, и шофер привезет вам в редакцию чистый бланк.

— К сожалению, через пять минут я уезжаю в Иерусалим.

— Не важно. Мой шофер привезет вам чистый бланк в Иерусалим. Где вы там остановитесь?

— Еще не знаю.

— Тоже не важно. Пошлите мне срочную телеграмму из Иерусалима за мой счет и сообщите адрес.

— Договорились. По какому адресу слать телеграмму?

— Черт побери, есть небольшая загвоздка. Через час я уезжаю на свадьбу моей дочери. Не представляю себе, как вы меня найдете... Знаете что? Я позвоню вам в Иерусалим.

— Как же вы позвоните, если я еще не знаю, где остановлюсь?

Пауза.

— Ладно,— раздается стон господина Зискраута,— Я останусь дома. Ничего страшного, свадьба не убежит. Мой шофер привезет вам чистый бланк.

— Можно бы и так, но моя жена не даст чистый бланк без записки от меня.

— И правильно сделает. А как передать ей от вас записку?

— Очень просто, говорю, вы, кажется, живете рядом с пожарной командой. Я поджигаю редакцию, приезжают пожарники, и я прошу одного из них передать вам записку.

— Отлично! Поджигайте!

— Можно бы и так, но вот досада! Только что заметил, что у меня нет спичек. Не пошлете ли мне вертолетом спички? У вас есть связи в армии?

— Я знаком с генералом Гувом Арие. Но он сейчас выясняет обстановку в Штатах.

— Не важно. Свяжитесь с ним по радио.

— Можно бы и так, но я не знаю его адреса.

— Не важно. Узнайте у министра обороны...

И случилось так, что премьер-министр дал адрес генерала. По радио передали просьбу господина Зискраута, военный вертолет опустился на крышу редакции, такси помчалось за бланком, я тем временем сообщил господину Зискрауту из Иерусалима свой адрес, его шофер доставил мне бланк, и я на нем написал: "Пропустить". А еще через час с четвертью пришла телеграмма: "Дорожной катастрофе сгорели шофер контрамарка тчк что делать вопр. зн. Зискраут". Телеграфировал в ответ: "Может быть зп купить билет кассе вопр зн".

Теперь Зискраут мой злейший враг.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ ВМЕСТО ПЯТИДЕСЯТИ

Нужно признаться, что в нашем политическом положении кроется некое внутреннее противоречие. С одной стороны, все жалуются на то, что такой маленький народ, у которого так мало нефти, занимает так много газетного пространства. С другой стороны, трудно отрицать, что в последнее время мы, евреи, взяли в свои руки бразды правления в самых различных странах мира. Мы стоим в авангарде загнивающего капитализма, тащим за собой призрак коммунизма и высоко несем сильно потрепан-

ное знамя сионизма. Мы привели к поражению национал-социализма и навязали Соединенным Штатам статус государства-спутника. Говорят, бедняга президент США во сне бормочет какие-то слова на идиш (если только он из-за нас вообще не потерял сон!). Как же это получилось?

Итак, первой и главной жертвой наших агрессивных посягательств стали Соединенные Штаты. Некоторые испытывают сострадание к нашему великому другу, но, согласитесь, Соединенным Штатам не на кого пенять. Не помогай они нам с таким упорством, мы никогда не смогли бы прибрать их к рукам.

Да, мы являем собой "оплот демократии" на Ближнем Востоке — что верно, то верно. Но, помилуйте, опыт показывает, что с деспотическими режимами тоже охотно мирятся, если они эти деспотические режимы, источают сильный запах нефти!

Да, в Соединенных Штатах живут несколько миллионов евреев, но их ведь никто не принимает во внимание, если только не считать предвыборных кампаний, когда баллотируется кандидатура мэра Нью-Йорка, который по особым причинам является прирожденным, вернее сказать, урожденным другом Израиля.

Может быть, Америка в своей политике руководствуется моралью старой басни о Льве и Мышонке? Мол, и крохотный мышонок в трудную минуту на что-нибудь да сгодится. Вполне возможно.

Как бы то ни было, гениальная идея, венчающая успех нашего влияния на международной арене, зародилась в голове одного энергичного государственного деятеля Израиля, который немедленно вылетел в Соединенные Штаты и, по данным, полученным из хорошо осведомленных источников, умудрился довести промежуточные переговоры до конечной стадии, придя к начальному соглашению, в общем и целом принятому к рассмотрению.

В соответствии с этим соглашением правительства двух государств, Израиля и Соединенных Штатов, идя навстречу пожеланиям своих народов, должны выразить готовность вместо двух государств, существование которых не оправдано ни с экономической, ни с политической точек зрения, создать одну мощную федеративную единицу под названием "Монолитная Ассоциация Правительств Америки и Израиля" (МАПАИ).

Предпосылки для такого объединения налицо: чрезвычайная родственность этих государств, можно сказать, близнецов, разделенных, по сути, только Средиземным морем и Атлантическим океаном. Не следует также забывать и о сходстве исторических

судеб обоих народов: оба получили независимость, изгнав англичан, оба были, так сказать, плавильными печами, куда забрасывали эмигрантов, из которых получался сверхпрочный сплав, и, наконец, оба насчитывают весьма значительное количество евреев.

Площадь новой Федерации .будет достигать 8150815 квадратных километров, что увеличит площадь одного только Израиля на 40000%. Население МАПАИ составит примерно 167048301 человек, то есть в значительной степени превысит население Израиля даже в период массовой алии.

Два равноправных члена Федерации сохранят свои политические режимы и после объединения. В Соединенных Штатах останется в силе двухпартийная демократическая система, тогда как в Израиле удержится хорошо испытанная двухфирменная система автобусного сообщения.

В Кнесет — единственный законодательный орган МАПАИ — войдут 60 американских представителей, а Сенат сольется с Керен Кайемет.

Договоры, заключенные ранее двумя странами, останутся в силе и после объединения. Соединенные Штаты не выйдут из состава НАТО, а Израиль будет доставлять в Гану пластмассовый ширпотреб. Само собой разумеется, что Израиль гарантирует Америке неприкосновенность ее теперешних границ.

Обе страны и впредь будут иметь свои отдельные дипломатические представительства, и, более того, ввиду возросшего международного значения Израиля он вдвое увеличит число своих дипломатов за границей.

Вооруженные силы двух государств также будут полностью объединены. Единый Генеральный Штаб расположится в Рамат-Гане. Вся продукция израильской оборонной промышленности целиком уйдет на вооружение объединенной армии, в том числе и автоматы Узи. По специальному запросу Министерства финансов новый Генштаб в самом ближайшем будущем издаст приказ о прекращении повышения оплаты израильским офицерам после объединения.

Особый закон будет освобождать студентов иешивот от несения всякого рода воинских обязанностей.

Новая Федерация уничтожит старую пропасть между экономическим потенциалом двух стран, входящих в ее состав. Единый денежный знак получит название "Эшкол" и будет равняться 1 израильской лире, или 1,8 доллара.

МАПАИ обязуется выполнять все взятые на себя обязательства, точный объем и содержание которых на данном этапе переговоров еще трудно определить. Например, станет возможной организация Объединенных спортивных команд, независимо от их партийной принадлежности.

Естественно, что по некоторым пунктам соглашения имеются определенные трения, но они, как известно, неизбежны в случае такого полного слияния двух стран.

Некоторые американские круги могут, например, проявить определенную сдержанность в ряде условий, которые ставит Израиль. В частности, в условии строжайшего запрета курить по субботам, распространяющегося на всю Федерацию. Или, скажем, в условии о непременном наблюдении Раввината за кошерностью пищи на каждом судне МАПАИ.

Цены на пластинки, выпускаемые в Штатах, значительно снизятся, а потребление Америкой израильских продуктов питания значительно повысится.

Официальные языки: иврит и английский.

Хотя открытая цель такого союза и состоит в полном слиянии двух родственных стран, ни у одной из них нет намерения полностью ликвидировать Соединенные Штаты как самостоятельную народно-географическую единицу. Более того, израильское правительство в знак полного уважения к суверенитету последней готово разрешить существование внутри нее организации "Объединенный Еврейский Союз" и даже усилить его деятельность, если ничего особого не случится.

Реализация грандиозного замысла на данном этапе зависит от одногоединственного условия: от согласия американцев.

Авторизованный перевод с иврита Софьи Тартаковской.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АРТУР КЕСТЛЕР. Писатель *(см. первый номер журнала).*

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА (ЮЛИЯ ДУБРОВКИНА). Поэтесса. Родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет Всесоюзного кинематографического института. Писала сценарии для кино и телевидения, выпустила два сборника рассказов и очерков. В Советском Союзе опубликовано всего несколько стихотворений Лии Владимировой — в журналах "Молодая гвардия", "Юность", газете "Московский комсомолец". Репатриировалась в Израиль в 1973 году. Поэтические произведения Лии Владимировой публикуются в "Континенте", "Сионе", "Меноре", "Новом Русском Слове", "Гранях".

МИХАИЛ ТРОППЕР. Врач-психиатр. Родился в 1928 году в Черновицах (Румыния). В 1951 году окончил факультет иностранных языков и отделение психологии и логики Новосибирского педагогического института, а в 1957 году — лечебный факультет Новосибирского медицинского института. После окончания медицинского института работал врачом-психиатром, а в дальнейшем — заведующим отделением психиатрической больницы в Новосибирске. В 1970 году был избран старшим научным сотрудником и доцентом Сибирского отделения Академии наук СССР. Автор 48 научных публикаций. Репатри-

ировался в Израиль в 1973 году. В настоящее время работает в Центральной поликлинике Тель-Авива — Заменгоф и консультантом-психогериатором в Джойнт Малбен и Мишан.

БОРИС ОРЛОВ. Историк *(см. первый номер журнала)*.

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. Филолог и литературный критик. Родилась в 1938 году. Окончила Ленинградский педагогический институт им. А.И.Герцена и аспирантуру при этом институте. Работала преподавателем в школе и институте. В течение одиннадцати лет была научным сотрудником Всесоюзного музея А.С.Пушкина. Печаталась в Ленинградских периодических изданиях, занималась исследованиями в области классической и современной литературы. В Израиль репатриировалась в 1974 году.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Журналист и писатель *(см. первый номер журнала)*.

МАРИС БИШОФС. Родился в 1939 году в Риге (Латвия). Окончил Латвийскую Государственную Академию искусств. С 1966 по 1972 год работал как книжный иллюстратор в центральных издательствах Москвы. С конца 1972 года живет в Израиле. Имел несколько персональных выставок, в том числе в Государственном музее Иерусалима и в галерее "Дельсон-Рихтер", в Старом Яффо. Работы Мариса Бишофса демонстрировались на "Кунстмессе", в Базеле. Они публиковались в газете "Вашингтон Пост" и других изданиях Америки и Европы. Летом 1975 года Бишофс был награжден третьей премией "Бронзовый Генрих" на Международном конкурсе карикатур в Западном Берлине.

ЭФРАИМ КИШОН. Израильский писатель-юморист и драматург. Родился в Венгрии, в 1924 году. Репатриировался в Израиль в 1949 году. Произведения Эфраима Кишона переведены на 17 языков и до сегодняшнего дня остаются бестселлерами во многих странах мира. Общий тираж его книг составляет более чем десять миллионов экземпляров. Пьесы Кишона ставятся в театрах многих стран. Большим успехом в Израиле и за рубежом пользуются пьесы "О, Юлия!", "Брачное свидетельство", кинофильмы "Полицейский", "Салах" и другие. Эфраим Кишон — председатель Союза кинематографистов Израиля.

Digest of the second issue of "VREMIA I MI ("Tfme and We")

ARTHUR KOESTLER : Darkness at Noon.
Continuation.

The novel tells of the tragic events of 1937 in Russia. The protagonist, Nikolai Salmanovich Rubashov, a former Red Commander, former People's Commissar, former diplomat, former friend of the Leader, is arrested and now is inmate of cell No. 404. Cf. the digest of Vremia i mi. No. 1.

LIA VLAOIMIROVA : Arabesques.

Arabesques are phylosophical sonnets about a human being's moods and wishes changing with time and season and place, meditations on life and on our epoch, deep in feeling, versatile, melodious, and skilfully written.

SAMIZDAT The Old Man.

This poem came to us through Samizdat (literally : "self-publication"; that is how unofficial poetry spread in manuscripts is called in the Soviet Union). The author of the poem is supposed to be one of the leading poets of modern Russia.

RUOYARD KIPLING : Poems.
Translated by George Ben.

These are new translations of poems written by the great English poet and prose-writer in different periods of his life»

DR. MICHAEL TROPPER : Alyja (immigration) Seen by a Psychiatrist.

This essay written by a prominent psychiatrist discusses some psychological and psychoanalytical aspects of new immigrants' life in Israel and describes psychological stages of the process of their adaptation to their new life. The emigrants' habitual tenor of life having changed, they found themselves under the influence of various psychological and social stresses, and this resulted in the emergence of numerous new problems, such as language bar, difficulties of adaptation to a new social and economic order, mutual misunderstanding in the course of interrelations with the local population, and so on.

BORIS ORLOV : The Fanny Kaplan Mvth.

The author is a historian who now studies the role of Jews in the Revolution of 1917 in Russia. Having analyzed all the data, including those found in archives, concerned with the 1918 attempt on Lenin's life, supposedly made by a Fanny Kaplan, the author came to the conclusion that Fanny Kaplan had never shot at Lenin. The author forms a hypothesis as to who it was that did make this attempt at Lenin's life and, taking this example as a basis, analyzes the roots of myth-making in Soviet historical science.

NATALIA RUBINSTEIN: Turn Off Your Tape Recorder. Let's Read the Lyric

Mrs. Rubinstein's critique is an analysis of Alexander Galich's poetry. The author compares Galich's role in Russian literary history with that of Nekrassov (1821 - 1878), each of them having introduced his contemporary man-in-the-street into Russian poetry. Galich, in fact, did in poetry what Bulgakov and Zoshchenko did in fiction: he dissected the psychology of the Soviet "common man" and showed the influence of ideology on human character and personality. The message and style of Galich's poetry are analyzed in detail.

VICTOR PERELMAN : The Hyde Park under Socialism. Continuation.

The author is a former correspondent of ^jteja_turnaya Gazeta and describes the life and manners of this periodical, the most popular publication among the Soviet intelligentsia. Cf. the digest of VremiaJ mi. No. 1.

MARIS BISHOPS: World Upside Down.Caricatures.

The artist tries to show in his cartoons that man's activity is destructive and leads to ends which are vice-versa to his aims. Bishofs finds absurd and grotesque side of life, which most people who live this life don't see.

EPHRAIM KISHON : Light short stories

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Ибн-Гвироль, 23/6 п. я. 24123, Тель-Авив.
Тел. 295852.
Типография издательства "Панорама", п. я. 31087, Тель-Авив. ул.Рош-Пина, 22.

MONTHLY "TIME AND Wt".
Ibn-Gvirol St., 23/6, Tel-Aviv. Israel
Tel. 03-295852
P.O.B. 241 23 Tel-Aviv

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах: повести Ильи Суслова "Прошлогодний снег" и Виктора Некрасова "Персональное дело коммуниста Юфы", роман Невила Шюта "На берегу", отрывки из книги Фаины Баазовой "Прокаженные", очерк Бориса Орлова "Миф о Фанни Каплан" (окончание), заметки доктора Михаила Троппера "Алия в зеркале психиатрии" (окончание), интервью с исследователем в области социологии и футурологии Иерусалимского университета доктором Зеевом Кацом "Евреи в постиндустриальном обществе", юмористические рассказы Эфраима Кишона и Аркадия Аверченко.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

В ИЗРАИЛЕ

на 3 месяца — 49 лир 50 аг.
6 месяцев — 99 лир.
9 месяцев — 148 лир 50 аг.
12 месяцев — 198 лир
Цена номера в открытой продаже — 22 лиры 50 аг.

В США И КАНАДЕ

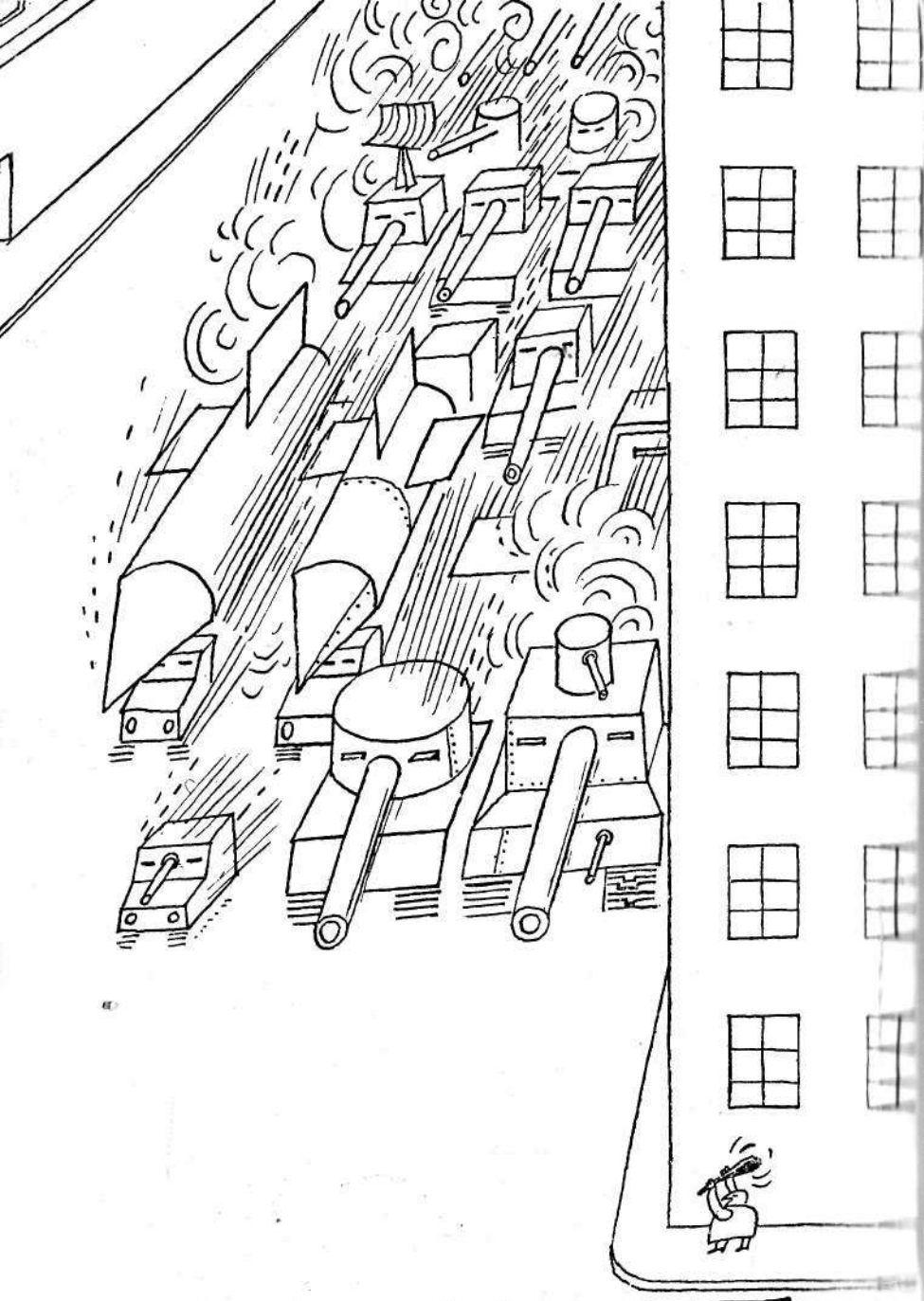
сроком на 6 месяцев -27.60 $ (авиапочта)
на 12 месяцев -55.20$(авиапочта)
Цена номера в открытой продаже - 5.80 $

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — 114 F.FR. (авиапочта)
на 12 месяцев - 228 F.FR.(авиапочта)
Цена номера в открытой продаже — 23 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на б месяцев — 66 DM (авиапочта)
на 12 месяцев — 132DM (авиапочта)
Цена номера в открытой продаже — 13 DM



MĀRIS BIŠHOFS 75